

«ЧЕЛОВЕКА НИКТО НЕ МОЖЕТ ОСВОБОДИТЬ»¹

В.Г. Лысенко
Институт философии РАН

Аннотация: Автор размышляет о судьбе своего поколения – поколения выпускников философского факультета 1976 года, на фоне своей личной истории, пытаясь понять и объяснить, почему почти через 30 лет после крушения советской власти, после открытия чудовищной правды о ее преступлениях, после падения железного занавеса и освобождения от диктата «единственно правильной» идеологии люди разных поколений, жившие при «совке», и даже совсем молодые люди, родившиеся после распада СССР, ностальгируют по советскому строю? Как возможно: знать про ГУЛАГ и всё равно возводить памятники Сталину? Почему после опыта свободы и недолгого, но всё же опыта нормальной человеческой жизни опять приходится защищать свою свободу и человеческое достоинство? И как случилось, что страна не смогла воспользоваться уникальным шансом измениться и стать частью мира, а вернулась на рельсы изоляции и ксенофобии? Одной из важных причин случившегося автор считает превалирование в современной России социального инфантилизма, ставшего следствием генетического наследия крепостного рабства, и «дикого» индивидуализма, не сопряженного с осознанием ответственности перед «другими».

Ключевые слова: философское поколение, философия советского периода, индийская философия, философский факультет МГУ, Институт философии.

Человек может работать над свободой и в свободе только один. Человека никто не может освободить. Если его освобождали, то он вольноотпущенник, освобожденный раб.

Он – холоп, которому дали передышку.

Александр Пятигорский

«Философское поколение» объединяет людей не по их философским убеждениям, а по обстоятельствам, по условиям, в которых эти убеждения формировались. Речь идет о системе более-менее формальных параметров, которые могут вмещать в себя многообразные и даже полярные философские взгляды и самые разные философские личности. Неважно,

¹ Первая публикация была осуществлена в издании: Лысенко В.Г. «Человека никто не может освободить». – Философские поколения / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: ЯСК, 2022. – С. 503–539.

философ ли ты «милостью божьей» по призванию или преподаватель философии, для которого вне профессиональной сферы, вне лекций и семинаров, статей и монографий философия не представляет никакой собственной ценности. Поколение – статистическая категория, в которой индивиды теряются из виду; из принадлежности ему личность никак не выводится. Если определять «философские поколения» по каким-то историческим вехам, то мы неизбежно придем к поколениям «оттепели», «застоя», «перестройки»: «шестидесятникам», «семидесятникам», «восьмидесятникам», поколениям девяностых, нулевых и далее.

Каждое из этих поколений формировалось в «своих» обстоятельствах, но это не значит, что именно те или иные «поколенческие» обстоятельства одинаково формировали философов. Кто-то выражал свое время, а кто-то выражал только себя и был абсолютно «неформатным» для своего времени именно потому, что через свою экзистенциальную позицию и свое мышление преодолевал эти обстоятельства. К какому поколению относятся Мераб Мамардашвили или Александр Пятигорский, получившие философское образование и сложившиеся как личности в пятидесятые-шестидесятые годы? Для Мераба жизнь в условиях советской власти, которую он ощущал как давление на свободу и достоинство человека, обладала «остротой бытия», позволяющей видеть «суть вещей», поэтому он не хотел эмигрировать, даже когда это стало возможным. Для Пятигорского советский опыт, похоже, не представлял никакой, даже отрицательной ценности. Говорить о влиянии на них внешних обстоятельств можно только в одном смысле – в смысле экзистенциальных вызовов как той крайней ситуации (как тюрьма у Сартра), в которой свобода выявляется в своем самом химически чистом виде. Я бы добавила к этому прекрасную иллюстрацию Грегори Дэвида Робертса, автора знаменитого романа «Шантарам», который, находясь в тюрьме, понял, что у него есть выбор: ненавидеть своих мучителей или не ненавидеть, и выбрал последнее. Это помогло ему выжить.

Не знаю, помогло ли бы это в ГУЛАГе, особенно в ситуации, пережитой и описанной Варламом Шаламовым, когда холод, голод, систематические унижения и издевательства просто дегуманизировали людей, делали их абсолютно апатичными, аморфными, безразличными даже к собственной жизни.

К чему я это говорю? К тому, что у каждого человека своя собственная конфигурация «поколенческих» факторов, которая к тому же в течение жизни может много раз меняться.

Главным водоразделом между поколениями мне представляется «советский» и «постсоветский» опыт. В советский период черты поколений шестидесятников, семидесятников и восьмидесятников сосуществовали в одном пространстве-времени и часто пересекались в одних и тех же индивидах. Что их объединяло? Назову только самое важное: необходимость так или иначе взаимодействовать с официальной, доминантной марксистско-ленинской идеологией; отсутствие доступа к источникам современной мировой философской мысли (они мало переводились на русский язык, а то, что переводилось, находилось в спецхране, куда надо было получать специальный допуск); обязательное требование критиковать и разоблачать «буржуазную сущность» западной философии²; неучастие на регулярной основе в мировой философской жизни (на международные конгрессы и конференции ездили в основном не специалисты, которых приглашали, а проверенные партийные товарищи и кураторы из КГБ); ограничение исследований лишь набором идеологически допустимых тем (нельзя было касаться религии, идеализма, буржуазных «прав человека» и т. п.); обязательная партийность для сотрудников вузов и академических институтов; коллективное осу-

² Доходило до смешного: помню, как на одном из семинаров Института истории естествознания и техники философ из Пущина делал доклад о Башляре. Рассказав с большим энтузиазмом о взглядах Башляра, он в заключение произнес: «К сожалению, это все неправильно». «Почему же?» – спросили мы. Он ничего толком не смог ответить, пробормотав, что это буржуазная философия...

ждение и «проработка» инакомыслящих и т. д. Со всеми этими явлениями в большей или меньшей степени сталкивались все «советские» поколения. Мой собственный опыт, о котором я расскажу, это подтверждает.

Я не отношусь к людям, которые живут воспоминаниями, я существую только в оптике настоящего и себя прошлую ощущаю как другого человека, который ко мне сегодняшней имеет мало отношения. В этом я солидарна с буддийским учением о «не-я» (анатман), которое утверждает, что мы меняемся буквально каждое мгновение, оттого никакого неизменного, постоянного «я» не существует, есть только поток моментов нашего опыта, который мы конструируем как наше «я». Воспоминания для меня – это некое насилие над собственным сознанием из-за сложности представить прошлое, каким оно виделось с позиции того «я», которого больше нет.

Могу сразу сказать, что я никогда не ностальгировала по советской власти и даже всё хорошее, что было в моей советской жизни, не хотела бы перенести в свое «сегодня». Предпочитаю оставить это хорошее в том времени, которым оно было рождено. Я вышла из «советского поколения», но стала собой сегодняшней только благодаря крушению советской власти в 90-е годы. Если бы она продолжалась, у меня не было бы шанса (далее по списку): работать по специальности, и тем более в Институте философии (вершиной моей карьеры при советской власти была работа редактором в «Большой советской энциклопедии»), я никогда не побывала бы в Индии (меня туда не выпустили даже в турпоездку), не принимала бы участия в международной научной жизни, никогда не смогла бы путешествовать по всему миру (была «невъездной») и вообще не получила бы никакого представления о том, как живут люди за священными границами «одной шестой части суши». Могу сказать про себя с полной уверенностью: я – дитя развала СССР. Падение советской власти разрушило барьеры для моего нормального развития и как специалиста, и как личности.

«Нормальное развитие» состояло в движении через разные культурные миры, в открытии себя через другое. Впервые я осознала себя русской, когда пожила во Франции, человеком западной цивилизации, когда пожила в Индии. Однако в результате постоянного перемещения между разными культурами и цивилизациями я осознала себя космополитом. Когда во время одной из последних переписей населения девчонки-переписчицы спросили про национальность, я не задумываясь ответила: «космополит». Поразительно, они даже не знали значения этого слова (жили бы они в 50-е годы, то пришли бы в ужас от такого признания). Когда я объяснила, что это «человек мира», они хором воскликнули: «Это круто!» И тут я с ними совершенно согласна: я тоже так считаю и так чувствую!

За свою долгую жизнь я была свидетелем шести переломных эпох в истории нашей страны: (1) от «сталинизма» к «оттепели», (2) от «оттепели» к «застою», (3) от «застоя» к «перестройке», (4) от «перестройки» – к «крушению советской власти», (5) от ее крушения к попыткам построить современную демократическую страну, открытую миру (1990–2012), (6) постепенное установление авторитарного режима, а с 2014 года, после «Крымнаш», поворот к тоталитаризму, который мы сейчас и переживаем.

В первом классе кишиневской школы (это был 1961-й год) под диктовку учительницы я прямо в учебнике старательно вычеркивала имя Сталина, название Сталинград. Помню, как в Кишиневе демонтировали бюсты Сталина. Потом «развенчали» и Хрущева... Помню, как с прилавков исчез хлеб и перед булочными стояли огромные очереди. Это тоже связывали с Хрущевым, с его «волюнтаристским» стилем руководства. Родители пытались слушать нещадно заглушаемый «Голос Америки», чтобы иметь хоть какую-то информацию о том, что на самом деле произошло. Помню, как прерывающийся «Голос» рассказывал о танках на улицах Москвы, об аресте Хрущева. От этого стыла кровь, мир моего детства трещал по швам. Я почувствовала, что есть опасное знание, о котором лучше молчать.

«Оттепель» и «романтизм» шестидесятых застали меня в старших классах школы, когда я еще не была способна это оценить. Взрослая жизнь началась с «застоя» – цинизма и прагматизма семидесятых. Это был опыт моего поколения. «Оттепель» открыла для многих людей сферу частной жизни – любви, ревности, справедливости, честности и подлости. Это был опыт человеческих чувств вне всякой идеологии, и многие со всем пылом юности ринулись переживать его вместе с героями фильмов «новой волны» советского кино. Однако «застой» и здесь поставил жирную точку, определив место для таких фильмов («Комиссар» Аскольдова, «Проверки на дорогах» Германа, фильмы Тарковского и др.) на пыльных полках спецхрана – «человеческое» не должно быть выше советской идеологии.

У социализма не может быть «человеческого лица»! Это доказали советские танки, раздавившие Пражскую весну 1968 года. В десятом классе моей кишиневской школы мне повезло слушать замечательные лекции по литературе поэта Александра Бродского (не путать с Иосифом Бродским). У него дома на стене висела инсталляция: карта Чехословакии, над ней топор с изображением серпа и молота, а над топором фотография писающего мальчика...

Этот писающий мальчик, как я думаю сейчас, в каком-то смысле символизирует наше поколение. Мы не пытались изменить мир, не пытались бороться с режимом, не искали справедливости, не клали голову на плаху, мы, скорее, просто жили, принимая существующее примерно так, как принимают сегодня климатические изменения. С самого начала для многих из нас вопрос стоял именно так – приспособиться к порядку вещей, который мы застали уже сложившимся. Приспособление могло означать разные вещи, например партийную карьеру, академическую или университетскую карьеру. У меня же, и, думаю, не только у меня, приспособление вылилось в стремление найти «экологическую нишу», достаточно защищенную, например своей экзотикой, от бдительного идеологического ока, чтобы можно было свободно делать что-то «для души».

Индийской философией я заинтересовалась еще в школе, познакомившись с Упанишадами, практически повторив опыт Шопенгауэра. Случайно найденная в дедушкиной библиотеке книга – дореволюционная антология текстов по истории философии, составленная знаменитым немецким философом Виндельбандом, – открылась на страничке Упанишад. Я была совершенно околдована этим текстом, его простым и ясным посланием: «ты есть то», утверждавшим универсальность и единство духовной основы мира и моего собственного «я». Это был первый опыт трансценденции, преодоления обыденности, приоткрывший горизонт иного способа существования, наполненного живым духовным смыслом. Но тогда, как и великий немецкий философ, я не знала, что это были не «настоящие» Упанишады, а некая выжимка, прошедшая многократную обработку: перевод на латинский Анкетиля Дюперрона (1731–1805) вольного пересказа на персидском языке санскритского оригинала «Упнекхат» («упанишады» по-персидски), автором которого был могольский император Дара Шукох. Именно перевод Дюперрона Шопенгауэр назвал «самым большим утешением не только в своей жизни, но и в своей смерти». По его признанию, он вдохновлялся им при создании своей философии. Когда же вышел первый перевод Упанишад с языка оригинала – санскрита, Шопенгауэр не проявил к нему ни малейшего интереса. Ему важны были сами идеи, а не их историческое или культурное измерение.

У меня все сложилось прямо наоборот: интерес к универсальной духовной стороне, к *philosophia perennis* индийской культуры постепенно уступил место интересу к культурной и мыслительной специфике, к локальному, частному – всему, что составляет барьер в понимании Индии для европейского человека. Повторю вслед за моим французским коллегой Шарлем Маламудом (кстати, внешне очень похожим на Шопенгауэра): «В Индии меня интересует не ее мудрость, а ее безумие». Интерес к санскритским «духовным текстам», пона-

чалу вдохновлявшим меня именно тем, что я могла извлечь из них лично для себя, как сейчас говорят, для личностного духовного роста, постепенно отошел на второй план. Я не стремилась «практиковать», искать учителя и т. п. Меня больше захватила интеллектуальная сторона вопроса, захотелось разобраться с историей идей, с историей проблем, особенно тех, которые я ощущала как недоступные моему пониманию, как вызов моим культурным стереотипам. Я не пыталась найти в индийских мыслителях единомышленников или свою собственную ипостась (как это делал Шопенгауэр, когда писал, что Будда выражал «его» идеи, и что до сих пор свойственно некоторым моим коллегам). Эти мыслители были мне интересны как совершенные незнакомцы, как инопланетяне. Мне захотелось вникнуть в их «внутреннюю» логику, а не придумывать ее по принципу «как бы я сама решила вопрос». Короче, не открывать в этих экзотических текстах «себя любимую», а ухватить «другого» именно в инаковости.

Реальный путь, который в конце концов привел меня в Индию, начался с поступления на философский факультет в 1971 году и с выбора кафедры истории зарубежной философии прямо на первом курсе. Мне импонировало то, что на этой кафедре акцент делался на изучение текстов, на знание иностранных языков (как минимум двух), что надо было пройти специальный отбор, и особенно то, что «история философии» признавалась самой трудной специализацией на философском факультете после логики. Через месяц после начала учебы наше кафедральное начальство (кафедрой тогда заведовал Юрий Константинович Мельвиль) вдобавок к трем важнейшим европейским языкам (английский, французский и немецкий) предложило на выбор еще три «экзотических» – санскрит, арабский и испанский. Мой выбор был предрешен: санскрит, и только санскрит! И это был выбор также и дела всей моей жизни. Я подумала, что такая специальность будет моей защитой от официальной идеологии, к которой у меня еще в школьные годы сложилось собственное непростое отношение.

Когда мне исполнилось 16 лет, мама поведала страшную историю нашей семьи, сосланной из Бессарабии в Среднюю Азию (где я, кстати, родилась), а мой латышский дядя, муж сестры моей мамы, – свою семейную драму: его маму на его глазах изнасиловали советские офицеры, после чего ее парализовало, а он на всю жизнь остался заикой. Я часто проводила летние каникулы в Риге и видела его маму: она издавала нечленораздельные звуки и передвигалась как механическая кукла. Это меня пугало, и я старалась избегать ее. После дядиного рассказа я преодолела страх и стала выказывать ей внимание. Помню, как она показала мне свои старые фотографии, с которых на меня смотрела прекрасная девушка, элегантно одетая по моде тех лет. Трагедия этой женщины потрясла меня до глубины души. Дядя как-то повел меня на экскурсию на кладбище и показал памятник матери-родине Латвии, воздвигнутый в период независимости страны – женщину с обнаженной грудью. Эта грудь была вся в дырках от выстрелов – наши военные выбрали ее мишенью для упражнений в стрельбе. Потом мы подошли к памятнику первому президенту Латвии, который был засажен со всех сторон кустами, чтоб его не было видно. Узнала я и о ссылках огромного числа латышей в Сибирь. После этих рассказов у меня возникло множество вопросов. Я вступила в спор с дядей о том, в системе ли дело или в «отдельных недостатках»? Мой путь от «отдельных недостатков» к «системе в целом» занял немало времени.

Учиться на философском факультете оказалось легко, особенно в сравнении с моей кишиневской школой № 37³. Не имея друзей первые два курса, я всё свободное время проводила в библиотеке: приходила к открытию и уходила перед закрытием; послеобеденный сон

³ Выпускники нашей школы поступали в ведущие московские вузы. Одновременно со мной в МГУ училось 6–7 выпускников нашей школы моего и предыдущего выпуска. За несколько лет до меня нашу школу окончил будущий многолетний посол России в Индии Александр Михайлович Кадакин, с которым я подружилась уже в Индии.

был особенно сладок на «подушке», сооруженной из томов собрания сочинений Ленина. Я тщательно готовилась ко всем занятиям, в результате чего в моей зачетке образовались только оценки «отлично». Потом, когда у меня началась своя московская жизнь и появился круг друзей, я перестала дневать и ночевать в библиотеке, но задел (зачетка с пятерками) стал «работать» на меня.

Уже на первом курсе я поняла, что на нашем факультете есть и «живое» и «мертвое», но это не обязательно совпадало с делением на «идеологическое» и «неидеологическое». Помню потрясающие семинары по истории КПСС слепого преподавателя-фронтовика Рахманова (к сожалению, не помню имени и отчества), интересные лекции по марксистской философии Виктора Алексеевича Вазюлина. Наше образование на первых двух курсах давало широкую гуманитарную и даже некоторую естественно-научную подготовку: мы изучали мировую историю (были курсы по античности, средним векам, Новому времени, читаемые прекрасными специалистами с исторического факультета), историю искусств, психологию (два года как замороженная я слушала великолепные лекции Петра Яковлевича Гальперина), математику, философию естествознания.

О том, что это идеологический факультет, говорило очень многое: комсомольские мероприятия, множество лекционных часов по истории КПСС, марксизму-ленинизму и научному коммунизму; обязательные спецкурсы, например о «фальсификаторах марксизма», который мы называли «под кепочкой марксизма». Было известно, что на каждом курсе имелись свои «кураторы из органов»⁴. Меня по какой-то нелепой случайности (возможно, как отличницу) сделали комсоргом нашей группы ИЗФ. Помню, в каком гневе был комсорг курса, когда узнал, что комсомольский урок под девизом «В жизни всегда есть место подвигу» я провела как семинар по категорическому императиву Канта, поставив вопрос, является ли исполнение долга подвигом. После этого меня, к счастью, переизбрали.

Ростки «живого» были слишком хрупкими: идеологическая «почва» не позволяла им укорениться. Так случилось и с замечательной инициативой кафедры ИЗФ – ввести преподавание санскрита как «иностранный язык». Узнав, что преподаватель – женщина, я стала с тревогой ожидать первого занятия. Какая она, эта носительница сакрального знания? Я мысленно рисовала себе разные женские образы: пожилую тетеньку, замученную домашним хозяйством, или важную ученую даму, и очень боялась, что исчезнет тот волшебный ореол, которым уже был окружен в моем сознании язык священных индийских текстов. Но Татьяна Яковлевна Елизаренкова, наш преподаватель, не была ни «тетенькой», ни «дамой», она излучала силу личности и мощь интеллекта, вне категорий пола и возраста. На первых занятиях Татьяна Яковлевна не скупилась на живописание трудностей, которые нас ожидают: чрезвычайную сложность санскритской грамматики, невероятное богатство лексики, необходимость постоянной зубрежки грамматических форм. Она настолько преуспела в «запугивании», что из 20 человек, пришедших на первое занятие, нас осталось только четверо – самых мотивированных. Этого она и добивалась, как потом выяснилось. Трое из нас стали индологами, это Володя Шохин, Наташа Исаева и автор этих строк. У нашего четвертого коллеги – Володи Танчука – судьба совсем другая, гораздо более удивительная: он отправился завоевывать Индию и стал знаменитым индийским астрологом.

На втором курсе, перед началом четвертого семестра нам объявили, что санскрита больше не будет. Никаких объяснений не последовало, по нашим каналам мы выяснили, что Татьяне Яковлевне КГБ запретил иметь дело со студентами по причине ее «неблагонадежности». Для нас это был настоящий удар, и нанесен он был в самом начале пути. Мы не понимали, ни почему нас лишили такого прекрасного преподавателя, ни почему даже не попыта-

⁴ Судя по некоторым публикациям, эта практика возобновилась.

лись найти ей замену... Пришлось самим заняться поисками преподавателя-санскритолога. К счастью, удалось уговорить Всеволода Сергеевича Семенцова, который стал идеальным наставником, настоящим гуру в чтении нашего первого санскритского текста – «Бхагавадгиты». Разумеется, с ним, а потом с замечательным преподавателем санскрита Октябриной Федоровной Волковой, которую нам рекомендовала Татьяна Яковлевна, – мы занимались частным образом.

На философском факультете индийскую философию время от времени преподавал Владислав Сергеевич Костюченко (он стал руководителем наших с Наташей Исаевой дипломных работ), но во время нашей учебы и потом он его больше не читал. Единственным ярким индологическим событием на факультете были лекции по буддийской философии Александра Моисеевича Пятигорского в 1972 или 1973 году, незадолго до его вынужденной эмиграции. Аудитория ломилась от слушателей, и было понятно почему. Мы видели перед собой совершенно свободного человека! Всё в нем поражало – от манеры расхаживать взад-вперед перед кафедрой, куря трубку и размахивая руками, до совершенно свободной мысли, которая рождалась здесь и сейчас, а не была «озвучена» по «заготовкам», как у большинства наших преподавателей. Возможность просто оказаться в радиусе «излучения» харизмы Александра Моисеевича, зарядиться его энергией, ухватить искорку его божественного мышления ощущалась как невероятное счастье. Знаете, как бывает, когда слушаешь музыку, которая поднимает тебя до небес, и хочешь, чтоб это состояние длилось и длилось... Он говорил о буддизме и индийской мысли так интересно, так захватывающе, что я окончательно утвердилась в намерении посвятить свою жизнь этому «освобождающему» знанию.

Возрождение индологии в 60-е годы стало одним из ярких проявлений хрущевской «оттепели». Оно произошло благодаря возвращению в 1957 году в Россию из Индии замечательного ученого-буддолога, сына знаменитого художника Николая Рериха, Юрия Николаевича Рериха. При поддержке Хрущева он создал в Институте востоковедения Отдел культуры и религии Индии, где началось активное изучение самых разных индийских языков, а также тибетского и пали. Вокруг Юрия Николаевича образовалась группа блестящих молодых людей, будущих знаменитых индологов и буддологов. Однако отдел просуществовал недолго. Всё сошло на нет из-за неожиданной смерти Юрия Николаевича в 1960 году. Он умер от инфаркта после того, как на него хамски наорал чиновник из ЦК (некий Ульяновский) за публикацию знаменитого буддийского текста «Дхаммапада», переведенного Владимиром Николаевичем Топоровым, в возрожденной Рерихом знаменитой серии *Bibliotheca Buddhica*⁵.

В середине шестидесятых застойные метастазы разрастались особенно быстро. Из-за подписывания писем в защиту диссидентов многие ученики Юрия Николаевича лишились работы и вынуждены были эмигрировать. Оставшиеся находились под наблюдением «органов». Особенно это касалось буддологов, которых обвиняли в связях с буддийским учителем и буддологом Дандароном («дело Дандарона»)⁶. Я жила в постоянном страхе за мою любимую Октябрину Федоровну Волкову, ученицу Дандарона, буддистку, которая была бесстрашным, даже бесшабашным и абсолютно бескомпромиссным человеком. В Институте востоковедения ее выставили на пенсию в 54 года в должности младшего научного сотрудника, хотя в то время в Москве никто лучше нее не разбирался в санскритских текстах⁷.

⁵ Серия переводных и оригинальных буддийских текстов, основанная в 1897 году академиком С.Ф. Ольденбургом в Санкт-Петербурге при Российской академии наук.

⁶ Дандарон Бидия Дандарович (1914–1974) – буддист, буддолог, тибетолог, неоднократно судимый советскими властями и погибший в лагере. Был обвинен в организации «буддийской секты». По этому делу проходили свидетелями О.Ф. Волкова и А.М. Пятигорский, Линнарт Мьялль (из Эстонии), тибетологи Ю.М. Парфионович, Б.И. Кузнецов, санскритолог В.И. Рудой.

⁷ См. мою статью о ней в сборнике ее памяти: Смаранам. Памяти Октябрины Федоровны Волковой: Лысенко 2006.

Человек многому научается «по образцам», осознанно или неосознанно копируя их в своем собственном опыте. Думаю, что мой выбор индийской философии был выбором «образцов» человеческого достоинства и свободы, равных которым было трудно найти в то время.

Самой большой проблемой во время учебы на философском факультете была для меня сдача зачетов и экзаменов по «матчасти» – догматичным и токсичным предметам, таким как история КПСС, научный коммунизм, атеизм и т. п. Было трудно сделать эти совершенно чужие и чуждые моему словарю мысли и слова «своими». Сознание противилось этому, и я постепенно научилась его отключать. Особенно успешный эксперимент по отключке сознания мы придумали и осуществили с моей подругой Наташей Исаевой при сдаче итогового экзамена по истории КПСС у преподавателя с говорящей фамилией Рубайло. Эта худая и «запакованная» в серый пиджачный костюм женщина «без возраста» была начисто лишена человеческих черт и больше напоминала робота. Спрашивала она строго, и интересовали ее в основном формальные знания, типа резолюций съездов КПСС «по пунктам».

Прогуляв шесть дней, выделенных на подготовку, мы с Наташей встретились лишь в день экзамена, пораньше, чтобы настроиться на нужную волну. С этой целью мы с подобающими партийными интонациями прочли друг другу краткий учебник по истории КПСС. Расчет был на кратковременную память. И она не подвела! Закончив читать учебник, мы встали из-за стола и неверными шагами направились сдаваться на милость Рубайло. Она уже заканчивала принимать экзамен, когда мы, как тени, медленно вплыли в аудиторию. Она стала кричать, что мы опоздали, но до окончания официального времени оставалось еще 15 минут, поэтому мы были в своем праве. Давно мечтавшая свести со мной счеты за ехидство на ее семинаре⁸, Рубайло стала гонять меня по решениям съездов. И произошло чудо. Как только я открыла рот, мое сознание отключилось, и какой-то чужой голос стал монотонно перечислять пункты партийных резолюций. Этот противный голос существовал как бы отдельно от меня, он и произносил все эти слова, мое же собственное сознание с некоторым удивлением наблюдало со стороны. Рубайло была повержена: мы ответили на все вопросы, даже на самые «коварные». С пятерками в зачетке, мы вышли в коридор, переглянулись, рассмеялись, и в это же мгновение вся партийная премудрость начисто испарилась из нашей памяти.

Но случались ситуации и другого рода. Мне дали почитать – «на одну ночь» – машинописную копию книги воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам как раз накануне экзамена по марксистской философии. Какой уж там сон! На экзамен я пришла в глубоком шоке от прочитанного. Увидев в билете вопрос об общих чертах марксистско-ленинской философии, я облегченно вздохнула. Уж это я знала. Надо было назвать всего-то три характеристики: партийность, научность и, кажется, народность (сейчас, слава богу, точно не помню). Но, открыв рот, я не смогла выдать из себя ни слова. Преподаватель предложила воды, я – стакан за стаканом – выпила весь графин. Она разрешила мне выйти в туалет за очередной порцией воды... Всё было бесполезно: я могла извлечь из глубин себя только что-то нечленораздельное. Удивительно, что при этом я легко произносила все другие слова, кроме тех, будто заколдованных... Преподавательница поинтересовалась моим самочувствием, но мне не на что было жаловаться, и я ей об этом честно сказала. К сожалению, я не помню имя этой милой дамы, которая отнеслась ко мне с таким пониманием. Предложив какое-то свое объяснение, которое я с благодарностью приняла (что-то типа «вы переутомились»), она отпусти-

⁸ Она любила рассказывать о замечательных достижениях СССР. Как-то раз я не выдержала и вставила: «А еще мы на первом месте по количеству чугуна на душу населения». На следующем семинаре Рубайло обратилась ко мне: «Лысенко, я проверила все справочники и такой информации не нашла». Аудитория взорвалась от смеха. Она поняла, что я ее высмеяла, и затаила обиду (для несведущих – я процитировала фразу из известной песни Высоцкого, Рубайло как проверенный партийный товарищ Высоцкого, конечно, не слушала).

ла меня и даже поставила «отлично» за работу на семинарах. Столкновение с правдой физически перекрыло путь для лжи... Вряд ли из меня получился бы преподаватель научного коммунизма.

Самый прекрасный период студенчества начался на третьем курсе с переезда в Высотку – так тогда называли главное здание МГУ. Какая же студенческая жизнь без общежития! В типовом общежитии, на Мичуринском, я жила два года пятой в комнате для четверых, в Высотке нас было трое в комнате для двоих и двое в комнате для одного. Было всегда тесно, но мы привыкли. У меня образовалось несколько дружеских компаний – наша группа ИЗФ, которая всё больше и больше сплочивалась, особенно после перевода с вечернего отделения замечательных студентов Иры Блауберг и Натальи Сидоровой, ставших душой нашей компании. Мы начали встречаться и помимо занятий по самым разным поводам. Сегодняшним молодым людям будет любопытно узнать, что во время этих встреч мы непременно пели под гитару и танцевали, танцевали... И вообще в наше время танцевали все и везде – в кафе, ресторанах, даже в столовых во время банкетов или праздников. Мы также путешествовали, но не на специальных экскурсионных автобусах, а своим ходом, в самых дешевых плацкартных вагонах. Особо запомнились поездка в Углич, а еще в Вологду в темном вагоне поезда, забитом до отказа пьяными рыбаками с их снастями.

Кроме того, у меня образовалась и общежитская компания: однокурсники, соседи по общежитию, среди них было много иностранцев. У нас на факультете учились ребята из соцстран и трое финских коммунистов. Самой большой была группа из Чехословакии, где после 1968 года закрыли философские факультеты. Были еще поляки и болгары. С поляками я жила в одной комнате на втором курсе. Они держались только своей группы, не особо усердствовали в учебе и даже не пытались выучить русский язык. С болгарками я сталкивалась мало, помню только, что и девушки, и юноши были очень хороши собой. Из финнов я сблизилась с Рииттой Ниэминнен, умницей и отличницей, которая очень серьезно относилась к учебе. Супружеская пара Аймо и Леа Минкинен тоже ответственно относилась к своему образованию. Леа была логиком; на чем специализировался Аймо, я точно не помню, но после возвращения домой, в Финляндию, он стал основателем и директором музея Ленина в городе Тампере.

Я дружила с Аленой Крейчевой из Чехословакии. Она попала в Москву случайно, не поступив в театральный институт. Алена была прирожденной артисткой и скоро начала выступать на сцене с интернациональным коллективом «Венсеремос». Все тогда переживали за чилийцев, жертв диктатуры Пиночета. Песни Виктора О'Хары, замученного на стадионе в Сантьяго, звучали на концертах «Венсеремоса» в разных исполнениях, в том числе и знаменитого тогда ансамбля «Гренада». Благодаря Алене я познакомилась и с «Гренадой», и со множеством талантливых ребят из разных стран мира, особенно из Латинской Америки. Помню, как в нашу с Аленой маленькую комнатушку на одного человека набивалась шумная интернациональная компания с гитарами. Песни были нашим главным языком общения.

О «железном занавесе» следует рассказать особо, ведь большинство молодых людей сегодня даже не могут себе вообразить, что это значит на практике. Мало кто тогда ездил за границу, особенно на Запад. Среди ровесников я даже не знала никого, кто побывал бы в «капиталистической стране». Но существовала и ближняя заграница – социалистические страны. На пятом курсе нас послали на стажировку в ГДР. Группа была небольшая, всего 6 человек, но с двумя «надзирателями» с нашего факультета: преподавателем диамата и методистом (очень строгой партийной Шапокляк). Конечно, было интересно в стране с таким богатым культурным прошлым, но постоянный надзор и проработка за «недостойное поведение», обязанность посещать лекции по марксизму-ленинизму на немецком языке, который мы почти не знали (я начала изучать его за три месяца до поездки), общение с немецки-

ми «товарищами» за обязательным вечерним распитием водки (мы, как было принято на этих стажировках, привезли с собой ящик водки) – остались в памяти как бесконечная пытка.

Из этой поездки я вынесла ощущение, что немцам пришлось гораздо хуже, чем нам. Они учились по нашим сталинистским учебникам 50-х годов, были запуганы до крайности: их могли выгнать с факультета за анекдот, за просмотр или прослушивание программ из Западного Берлина. Бедолаги, они приходили к нам, просто чтобы послушать наши анекдоты, напиться и забыться. Помню, как немецкий «куратор» нашей группы в Эрфурте отговаривал нас от посещения знаменитого собора во время очень красивого церковного праздника, ссылаясь на опасность «религиозной пропаганды».

Любопытная деталь. У меня в Берлине был знакомый парень – музыкант из знаменитой тогда гэдээровской рок-группы политической песни «Окtoberклуб», он пригласил меня в гости, и я принесла ему в подарок пластинку Жанны Бичевской. Пластинка понравилась и ему, и всем музыкантам группы, они пригласили Бичевскую на какой-то международный фестиваль. Так я невольно послужила международной карьере Жанны Бичевской. Квартира моего друга находилась в той части Берлина, которая примыкала к знаменитой стене. Какое же удручающее зрелище представляли эти кварталы – полуразрушенные дома, мусор, который годами не убирался, вонь и разруха! Конечно же, меня сильно «проработали» за этот визит.

Однажды вечером я стояла на платформе какой-то берлинской центральной станции и вдруг увидела совсем рядом отблески моря огней – это был Западный Берлин за стеной. Там бурлила яркая ночная жизнь. Близость другой реальности, которая казалась такой прекрасной и свободной, еще больше подчеркивала убожество по эту сторону стены. Я подумала, как, должно быть, тяжело восточным берлинцам иметь перед собой это постоянное свидетельство о возможности «другой жизни».

Немецкие хозяева любезно предложили организовать для меня встречу с коллегой по моей специальности. И я выбрала самого знаменитого тогда гэдээровского индолога профессора Вальтера Рубена. Меня привезли к нему домой, на улицу Рабиндраната Тагора, 23 (улицу назвали так по его просьбе). Мы сразу нашли общий язык и вдохновенно проговорили полдня. Он вспоминал о своей дружбе с Ясперсом, рассказывал о своих санскритских штудиях. Мы выяснили, что на некоторые вещи смотрим одинаково. Он жаловался на отсутствие интереса к индологии, а я рассказала ему о своей ситуации в Москве. Потом он предложил мне стать его ученицей, и мы даже обговорили возможную тему работы. Я уехала в Москву, окрыленная такой перспективой, но из этого ничего не вышло. По какой причине – мне неизвестно.

Но вернемся к загранице. На самом деле государственная граница проходила не где-то далеко, а там же у нас, на философском факультете. И этой границей был факультетский комитет ВЛКСМ. Алена пригласила меня к себе в гости, под Братиславу, но для получения разрешения на выезд нужно было пройти собеседование у комсомольских начальников. Наш разговор помню до сих пор дословно. Студент старшего курса, преисполненный сознания важности своей роли и миссии, начал издали: «Вот вы будете пересекать границу с Чехословакией (предполагалось, что я поеду на поезде), и вас спросят, какие решения были приняты на последнем съезде комсомола?» Идиотизм вопроса сразил меня наповал. Я стала отвечать в таком же духе: «Думаю, что меня никто об этом не спросит». «А если спросят?» – продолжал упорствовать он. Я: «Даю голову на отсечение, что не спросит...» Разговор продолжался в таком же духе, и мне конечно же отказали, предложив лучше подготовиться и прийти еще раз. Омерзительность этого произвола, когда тебя могут спросить о чем угодно и всё равно отказать, отвратила меня от желания куда-нибудь ездить.

Через несколько лет, будучи уже в аспирантуре, я легко получила разрешение поехать в Польшу от комитета комсомола Института истории естествознания и техники, без всякого собеседования, из чего заключила, что на самом деле все зависело от конкретных людей.

К слову сказать, в 1978 году Польша была куда более свободной страной, чем ГДР и мы. Поляки могли ездить на Запад, и в компании друзей моих друзей, которые меня пригласили, многие проводили каникулы за границей. Это был на тот момент мой самый близкий контакт с людьми, побывавшими на Западе. По сути, Польша и была для нас «Западом»: там продавали отличные современные шмотки, за которыми у нас, если их «выбрасывали», стояли огромные очереди, существовала относительная свобода передвижения и не было перманентного страха перед всесильной партией. Поляки сохранили частное сельское хозяйство, религиозность и цивилизованные манеры (обращались друг к другу: «пан», «пани», «панове»). Мужчины были чрезвычайно куртуазны: целовали ручки, уступали место, всячески подчеркивали свое почтение. Для меня это был совершенно новый опыт гендерных отношений. Почему-то не могу забыть одного эпизода. На Рыночной площади в историческом центре Варшавы (Старе Място), по которой я прогуливалась ярким солнечным днем, ко мне неожиданно подошел молодой человек и протянул мороженое. Видимо, на моем лице отразилась моя первая паническая мысль («вот сейчас начнет приставать»), потому как он с ужасом от меня отшатнулся и, как бы извиняясь, сказал: «Я просто хотел сделать вам приятное, чтобы вы не грустили». Я взяла мороженое, и он тут же ушел. Мне стало стыдно за эту свою жлобскую реакцию, а еще до боли горько – за свою органическую неспособность вписаться в атмосферу беспечного веселья, которая там царила.

Вернемся к МГУ. Преподавателей кафедры ИЗФ я бы поделила на две категории: высокопрофессиональных историков философии и философов как свободных мыслителей. К первой категории относились лекторы и «семинаристы»: Василий Васильевич Соколов, Виталий Николаевич Кузнецов, Геннадий Георгиевич Майоров, Галина Яковлевна Стрельцова. Им я обязана своими знаниями в области истории философии. Но были и такие преподаватели, которые больше запомнились своим мышлением. К их числу я отношу прежде всего Бориса Семеновича Грязнова, поражавшего экзистенциальным и эмоциональным накалом своей мысли. Запомнился харизматичный, увлеченный мыслитель Анатолий Федорович Зотов. А Тамара Андреевна Кузьмина запечатлелась в памяти своей какой-то своей «нездешностью», красотой, обаянием, а главное, изящной, я бы даже сказала – изысканной манерой знакомить нас с экзистенциализмом без советских штампов. Она была единственной преподавательницей кафедры, которая работала в Институте философии.

Нашу группу ИЗФ особенно сплотил спецкурс по Канту Валентина Фердинандовича Асмуса – самого знаменитого историка философии в то время. Из-за почтенного возраста он больше не мог самостоятельно приезжать на факультет, поэтому мы ездили к нему в Переделкино. Мы были его последним курсом. Запомнились не лекции, которые Валентин Фердинандович читал нам по своим старым записям, а посиделки и чаепития после. За столом жена Валентина Фердинандовича, замечательная Ариадна Борисовна, душа этого большого гостеприимного дома, называла его «Люшечкой», и это было так трогательно, так «подомашнему», что мы чувствовали себя частью этой семьи. К нашему приезду она обязательно пекла вкуснейшие пироги. Мы, как правило, очень голодные, проглатывали их в одно мгновение, с тем чтобы ничто не мешало слушать рассказы Валентина Фердинандовича о его дружбе с Павлом Флоренским, Пастернаком, Бахтиным, Евтушенко, Кавериным и другими обитателями Переделкина. Нам повезло прикоснуться к истории через реального исторического персонажа.

Ариадна Борисовна организовала для нашей группы экскурсию в дом Бориса Пастернака, который тогда не был и по понятным причинам не мог быть музеем (роман «Доктор Жи-

ваго» был еще запрещен). Нас сопровождала Наталья Анисимовна – жена младшего сына поэта, Леонида. На первом этаже жил Станислав Нейгауз, пианист, концерты которого я старалась не пропускать, сын легендарного Генриха Нейгауза, мужа второй жены Бориса Леонидовича (вот такая была семья). Меня глубоко поразили аскетизм всей обстановки дома и особенно комнаты самого поэта. Так мог жить схимник или садху – человек, не придававший никакого значения внешней стороне жизни. Нас хотели повести и в гости к Михаилу Бахтину, но, увы, не успели. Он умер.

Во время одной из наших «посиделок» я рассказала Валентину Фердинандовичу о том, что моя бабушка, Зинаида Александровна Лысенко (в девичестве Рубановская), окончившая филологический факультет Киевского университета в 1914 году, работала вместе с ним и Михаилом Дынником (который за ней ухаживал и называл «товарищ Зиночка») в Киеве, в советском учреждении, название которого бабушкина память не сохранила. В это время бабушка была еще жива, и я передала Валентину Фердинандовичу привет от нее⁹. Он не помнил ни ее, ни этого эпизода, но после моего рассказа подписал для нее свою книгу о Канте: «Товарищу Лысенко». Меня тогда резанул этот официоз, но теперь я понимаю, что это было проявление осторожности, привычное для «пуганого» человека того времени.

Домашние семинары – это особая примета семидесятых. Хотя в наше время уже не было таких массовых спонтанных мероприятий, как поэтические вечера в Политехническом музее, собиравшие толпы молодых людей эпохи «оттепели», у нас были свои маленькие, но тем не менее вполне реальные лазейки в свободу – «домашние семинары». С этих семинаров началась моя настоящая интеллектуальная жизнь в Москве. Мой однокурсник и друг Володя Амелин привел меня в кружок харизматичного старшекурсника Саши Антонова. Мы собирались в ГЗ (главном здании МГУ), там я познакомилась с Аликом Казаряном, Сашей Доброхотовым и, кроме того, встретила свою будущую очень близкую литовскую подругу – Гражину Миниотайте, аспирантку Юрия Константиновича Мельвиля.

Это было на третьем курсе, а на четвертом я попала на домашний щедровитянский методологический семинар, который вела одна из учениц и близких друзей Георгия Петровича Щедровицкого – Наташа (Наталья Ивановна) Кузнецова. Именно там, под Наташиным крылом и при активном содействии Бориса Семеновича Грязнова, и решилось мое будущее – поступление в аспирантуру Института истории естествознания и техники (ИИЕТ). На пятом курсе я уже ходила на семинары в ИИЕТ и даже побывала на Звенигородской конференции института. Я впервые наблюдала философов в таких острых дискуссиях.

По прошествии лет могу констатировать, что аспирантура в ИИЕТе в гораздо большей степени, чем философский факультет МГУ, была «моими университетами». Мне просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Своим блестящим философским составом институт был обязан академику Бонифатию Михайловичу Кедрову, директору института с 1962 по 1974 год. Бонифатий Михайлович брал на работу тех, кто по идеологическим при-

⁹ Как впоследствии оказалось, он и моя бабушка были косвенно связаны еще и через Гизбар – так называлась масонская ложа, оккультническая организация, называвшая себя орденом тамплиеров, к которому принадлежала моя бабушка и сестра первой жены Валентина Фердинандовича. Членом этого общества был и знаменитый врач-онколог, переводчик с санскрита Махабхараты Борис Леонидович Смирнов. Бабушка никогда не рассказывала о Гизбаре, но на смертном одре призналась мне, что всю жизнь любила Евгения Владимировича Крамаренко, выпускника факультета египтологии Киевского университета, который, как я потом выяснила, был магистром Гизбара. Он считал себя реинкарнатом (перевоплощением) Жака де Моле. Бабушка передала мне рукопись его стихов, его фотографию в гробу (он умер от тифа в 1921-м) и рисунок его матери, с которой она была хорошо знакома. Вместе с другими гизбаровцами бабушка бежала из Киева в Ташкент, а оттуда в Пржевальск (Киргизской ССР). Тогда, в Переделкине, я не знала подробностей всей этой истории, а просто рассказала о жизни бабушки в самых общих чертах.

чинам либо был подвергнут репрессиям, либо просто не вписывался в формат «советского философа». В бытность мою в институте директорствовал Семен Романович Микулинский¹⁰.

Благодаря «кадровой политике», начатой Кедровым, в наш философский сектор попали Мераб Мамардашвили, Вадим Рабинович, Пиама Гайдено, а потом и ее сестра Виола, Анатолий Ахутин, Виктор Визгин (его брат Владимир работал в секторе истории физики), Иван Дмитриевич Рожанский, Илья Семенович Тимофеев. Последний, как начальник, умело лавировал между администрацией и нашими «звездами». В соседнем философском секторе, возглавляемом тогда самим Бонифатием Михайловичем, работали Наталья Кузнецова, Георгий Гачев, Николай Федорович Овчинников, физик Игорь Алексеев, знакомый с самим Нильсом Бором, Александр Огурцов, Борис Юдин, Александр Печенкин, Людмила Артемьевна Маркова, Юрий Чайковский и всеми любимая секретарь Кедрова Лера Арутюнян. Моим соотарищем по аспирантуре и другом стал ученик Мераба Володя Калиниченко, «единственный философ в России, с которым можно поговорить», по признанию Александра Моисеевича Пятигорского, который, много лет спустя, выбрал Володю себе в собеседники для участия в популярной в то время передаче «Гордон» [Гордон... б/г].

Профессиональная жизнь и личные дружеские отношения связаны далеко не всегда, но в ИИЕТе это совпало и слилось, как более никогда в последующей жизни.

Это была лучшая школа свободной философской мысли, тем более свободной, что она существовала в условиях тотальной несвободы. Семинары наших двух философских секторов никогда не были формальными, всегда находились поводы для серьезного научного обсуждения и экзистенциального разговора. Мы не упоминали ни политику, ни идеологию, общая сторона баррикад принималась «по умолчанию». Это удивительное чувство, что ты находишься среди единомышленников, которым можешь полностью доверять, согревало и поддерживало ощущение института как «общего дома». Мы вместе справляли праздники и дни рождения, вместе горевали и напивались, когда случалось что-то плохое, а поводов для этого было предостаточно.

В начале 80-х жертвой новой волны идеологического давления оказался и Мераб Мамардашвили. Его уволили как «не выполнившего индивидуальный план». Формулировка и сегодня звучит актуально, не так ли? Некоторое время Мераб читал лекции: сначала его пригласил Василий Давыдов в Институт психологии, потом Паола Волкова во ВГИК. Мы посещали эти лекции небольшой институтской группой, иногда после лекций устраивали Мерабу дружеские обеды. Но вскоре и лекции запретили. Мераб остался без работы и был вынужден уехать в Тбилиси. Там его прекрасно встретили, дали работу и он прочитал свои знаменитые лекции о Прусте. Некоторое время он был совершенно счастлив¹¹.

Жизнь в ИИЕТе в мои аспирантские годы и наше общение были именно тем, что Мераб называл «трагическим весельем», «незаконной радостью», которая случается «вопреки», пробивается как чистый стоический акт воли через железную толщу обстоятельств. Приведу только один, но очень яркий пример.

В тот год (1979) я решила не праздновать свой день рождения, но судьба распорядилась иначе. Ко мне в общежитие нагрянула целая компания сотрудников нашего института – Наташа Кузнецова, Николай Федорович Овчинников, Мераб Мамардашвили, Толя Ахутин,

¹⁰ Из стенгазеты одной из звенигородских конференций: «Семен Романович неистов искал вокруг интерналистов, искавши, сбился бедный с ног, но тут Грязнов ему помог, признавший честно, как марксист, что он и есть интерналист». Авторы: Вадим Рабинович и Толя Ахутин.

¹¹ Заехав как-то раз в Москву, он пришел ко мне в гости. В малюсенькую комнатушку съемной квартиры набилось человек десять. Мы очень сердечно поговорили. Тогда-то он и сказал: «У каждого человека должен быть свой Тбилиси!» Как горько это звучит сейчас, когда мы знаем, чем все кончилось: в Грузии пришел к власти националист Гамсахурдиа и объявил Мераба «врагом народа». Травля привела к смерти Мераба от инфаркта в душном «отстойнике» аэропорта Внуково в 1990 году, в возрасте 60 лет.

Юлик Шрейдер (друг Наташи), кажется, там была и Лера Арутюнян, и, возможно, Витя Визгин. Их появление привело меня в замешательство, я не ждала гостей и не готовила угощения... Чтобы я не «дергалась» и не «суетилась», меня «нейтрализовали», заставив выпить водки (никогда не жаловала этот напиток, предпочитая сухое вино, поэтому с непривычки меня просто «вырубил»). Гости пришли со своим «харчем». Они быстро освоились и без моей помощи (я пребывала в божественном безделье) нашли у соседей и посуду, и столовые приборы. Стол быстро покрылся тарелками с едой и напитками. После веселого застолья начались танцы. Меня, сбитую с ног водкой, «танцевал» Мераб, держа на руках. Помню, что я торжественно объявила присутствующим свое решение: посвятить свою жизнь науке! Компания встретила это дружным хохотом, но ведь, господа, это оказалось правдой! Из соседних комнат набегали девчонки и присоединились к танцам. В самый разгар вечеринки появились представители администрации общежития и попросили «посторонних» удалиться, сославшись на слишком позднее время. Расходились с огромной неохотой, с ощущением какой-то огромной потери – будто у нас отняли ценнейшие мгновения чистого счастья.

Представьте мои смешанные чувства, когда я узнала, чему я обязана таким фантастическим днем рождения. Оказалось, что как раз накануне, 21 марта, покончил жизнь самоубийством философ Эвальд Ильенков. Коллеги, оказавшиеся в секторе 22 марта, были раздавлены этой новостью. Всё закончилось бы просто жесткой пьянкой, но кто-то вспомнил о моем дне рождения, и они решили поехать в общежитие, чтобы устроить мне праздник.

Вспоминаю и звенигородские семинары ИИЕТа. Днем шла интенсивная интеллектуальная работа, а ночами мы гуляли, пели, читали стихи. Поэтический обзор конференции, созданный тандемом Ахутин – Рабинович, долго ходил в списках, поскольку стенгазета с ним провисела в институте, как помнится, совсем недолго. В вечернее время образовывались группы «по интересам». «Интересы» были разные: некоторым хотелось просто «выпить», некоторым – послушать «неофициальную» поэзию, и тогда они шли на «огонек» нашего любимого минского гостя – Славы Стёпина (Вячеслава Семеновича). Он мог всю ночь напролет декламировать наизусть Цветаеву, Мандельштама, Пастернака. Молодые читатели моих мемуаров могут и не знать, что эти поэты считались тогда «неблагонадежными», их даже не упоминали в школьных программах. Популярностью пользовались комнаты, где пели под гитару. Я в то время исполняла Окуджаву и Джоан Баэз. Иногда все три «группы интересантов» встречались на одном пространстве (в одном номере гостиницы), и это было прекрасно!

Вторым домом после ИИЕТа стал для меня Институт востоковедения, Отдел Древнего Востока, где работал Григорий Максимович Бонгард-Левин, мой научный руководитель, и училась в аспирантуре близкая подруга Наташа Исаева. Востоковеды тоже жили интересно и весело. Помню праздники, во время которых устраивали спектакли и танцы. Шампанское и водка лились рекою, столы ломились от закусок. Пили безудержно, после каждого такого праздника кто-то обязательно оказывался в нокдауне или даже попадал в вытрезвитель. К пьянству везде относились терпимо, с пониманием.

Но еще была отдельная и очень яркая жизнь вне институтов. Какое-то время я увлеклась семинарами Георгия Петровича Щедровицкого, отца-основателя Московского методологического кружка (ММК), которого все называли просто ГэПэ. Самой памятной была встреча с ним на «мальчишнике» у физика Игоря Алексева, друга по ИИЕТу. Нас было всего четверо. Помню не разговоры, а то, как мы проникновенно слушали «Коней привередливых» Высоцкого под аккомпанемент оркестра Гараняна. Когда пластинка заканчивалась, ее ставили снова, и так три раза подряд. Эта надрывная песня точно передавала наше настроение и состояние души в тот незабываемый вечер. ГП пригласил меня в свой ближний

круг – так называемый математический семинар¹². Надо признать, что в работу семинара я так и не втянулась. Но даже общее, достаточно поверхностное знакомство с методологией ГП помогло мне развить в себе методологическую и герменевтическую рефлексию (помню, что это называлось «перпендикулярный взгляд»), что очень пригодилось в дальнейшей работе с инокультурными текстами.

Толя Ахутин открыл для меня семинар Владимира Соломоновича Библера. Это была отдельная вселенная, где царил блестящий Владимир Соломонович. А еще были лекции московских антропософфов на домашнем семинаре у моей подруги Люси Косаревой, которая увлеченно занималась герметизмом, алхимией и другими «неформатными» эпизодами истории науки (издала два сборника по герметизму и алхимии, оба под грифом спецхрана); домашний семинар у другой подруги – физика Оли Кузнецовой, которая привечала оригинальных людей с оригинальными теориями¹³; мистические путешествия по Москве «на корабле дураков» с Володей Степановым, известным московским эзотериком, последователем Г.И. Гурджиева. Можно вспомнить и много «разовых событий», например встречу Рустама Хамдамова и Мераба Мамардашвили на квартире приятельницы из ИИЕТа Наташи Вдовиченко в великолепном доме стиля модерн в Гнездиновском переулке, там, где располагался учебный театр ГИТИС. Оба были «молчунами», и поначалу разговор не клеился, но постепенно они разговорились. В результате два великих человека «открыли друг друга» и получилось теплое и содержательное общение¹⁴.

Каждая из этих форм «домашней» интеллектуальной жизни заслуживает отдельного рассказа, но, за неимением места, ограничусь общим впечатлением: Москва жила интереснейшей и крайне разнообразной «неофициальной» интеллектуальной жизнью главным образом потому (нет худа без добра!), что многие пласты культуры и научной деятельности были вытеснены в подполье – исследования религии и мистицизма вне парадигмы атеизма, изучение истории страны, изучение современной западной философии вне марксистской критики и так далее и тому подобное. В этих областях нельзя было ни проводить исследования, ни защитить диссертации, ни сделать академическую карьеру, но это никого не смущало, скорее даже вдохновляло перспективой полной свободы.

Между тем период с конца 1960-х и до начала 1980-х отмечен еще одним ярким явлением – Московско-Тартуской школой по семиотике. Индологи и буддологи, их коллеги лингвисты и культурологи оказались среди ключевых фигур семиотического, структуралистского движения (А.М. Пятигорский, Б.Л. Огибенин, В.Н. Топоров, А.Я. Сыркин, Вяч.Вс. Иванов (совместно с Топоровым они выпустили в 1960-м книгу «Санскрит»)). К началу 80-х это начинание стало беспокоить начальство и было отчасти прикрыто, отчасти само себя исчерпало. В 1976–1977 годах от Октябрины Федоровны Волковой я услышала восторженный рассказ о конференциях в Тарту как о чем-то случившемся в совершенно другую эпоху, которая к тому времени уже закончилась.

А как же Индия, индология, диссертация, наконец? Здесь была своя история. Для дипломной работы в МГУ я перевела в качестве приложения два больших куска из самого главного философского труда великого индийского философа Шанкары – «Брахма-сутра-бхашья». Моя работа была посвящена понятию «высшего» и «низшего» знания в этом тексте.

¹² Как отметил в своих мемуарных заметках Паша Малиновский, кружок ставил перед собой амбициозную программу разработки структурной математики как методологической альтернативы школе Н. Бурбаки [Малиновский б/г].

¹³ Мне запомнились выступления физика-теоретика Жоры Рязанова с чем-то непонятным, но завораживающим, Вадима Розина с чем-то эзотерическим и Саши Раппапорта, которого я была готова слушать, о чем бы он ни говорил – настолько свежими и вкусными мне казались (и до сих пор кажутся) его мысли.

¹⁴ Мои попытки познакомить Мераба с Володей Степановым и с Сашей Раппапортом оказались не слишком удачными. Что-то не сошлось.

Шанкару и его философскую школу адвайта принято считать вершиной индийской философской мысли. Это самая яркая и последовательная система философского монизма (адвайта означает «недвойственность») в мировой философии. Однако продолжать эту тему в аспирантуре ИИЕТа было невозможно, необходимо было найти что-то близкое к истории науки. Я остановилась на школе вайшешика и ее атомизме.

После захватывающих дух, глубоких мыслей Шанкары рассуждения вайшешиков казались мне скучными и плоскими, я не находила в них ничего интересного, такого, за что могла бы зацепиться. Но философски «раскручивая» идею атома, я осознала ее близость таким философским понятиям, как индивид и свобода... И это «сладкое слово свобода» открыло иные горизонты мысли! У меня появилась масса вопросов к вайшешикам, захотелось понять, как они пришли к идее атома, как они ее обосновывали и есть ли связь между греческим и индийским атомизмом?

Занудство текстов вайшешики перестало раздражать, а стало, наоборот, источником вдохновения. Легко писать о духовных материях, когда о них говорит своим ясным языком Шанкара, но, когда перед тобой ребус, набор слов, смысл которых находится где-то далеко, это совсем другая ситуация. Я стала с ней разбираться и написала диссертацию, в которой показала всю сложность атомистической доктрины вайшешики, которая не поддается материалистическому толкованию, а скорее соответствует западному понятию метафизики.

Окончание аспирантуры совпало с Олимпиадой 1980 года, и это отразилось на мне самым роковым образом. У меня закончилась московская прописка, и возобновить ее не было никакой возможности. Тем не менее я решила остаться в Москве, поскольку только здесь могла хотя бы надеяться найти работу по специальности. При советской власти прописка в Москве была под особым государственным контролем. Ее могли сравнительно легко получить только представители «рабочего класса». На работу не брали из-за отсутствия прописки, прописку же не давали из-за наличия высшего образования. И выхода из этого «порочного круга» не было.

Мне повезло найти загаженную квартиру у алкоголиков, достигших полного дна, – им единственным было наплевать на отсутствие у меня московской прописки. Но, как только я закончила разгребать «авгиевы конюшни», появился милиционер (наверное, его вызвали соседи) и дал мне 24 часа на то, чтобы я «убралась из Москвы». Так я оказалась персоной нон грата, философом-отщепенцем «вне закона». Помню, как бродила по ночным улицам, чтобы как можно позже, тихонько прокрасться в свою ночлежку, жила не включая света и не проявляя признаков своего присутствия, чтобы соседи не заметили и не донесли.

К счастью, через знакомых моего отчима нашлась работа воспитателя в ЖЭК общежития рабочих, привезенных на строительство олимпийских объектов. У меня появилось законное спальное место в Бескудникове. Так я попала в совершенно другую Москву, в новую для меня социальную реальность. Пришлось сильно измениться, интеллигентские манеры не действовали на моих подопечных, а если и действовали, то как красный цвет на быка, только раздражали. Некоторые молодые ребята к 16 годам уже страдали алкоголизмом, многие не знали никакого иного языка, кроме мата. Встречались и светлые люди, но их было меньшинство. В основном, подопечные состояли из агрессивных, невежественных мальчишек, которым было совершенно наплевать на Москву, на культурную жизнь, на всё, что было дорого мне, но находилось за горизонтом их мира. Благодаря общению с ними, я поняла, что значит «классовое чутье» – это было то, что они испытывали в отношении меня. Я была для них нестерпимо «чужой», средоточием всего того, что они не понимали и потому ненавидели.

С момента, когда я осознала всю безнадежность своего положения, мне стало всё безразлично, даже собственная жизнь. Я лезла на рожон, вмешивалась в драки, однажды даже

пришлось разнимать поножовщину. В этом был свой кураж. Я подходила к дерущимся и строгим начальственным голосом спрашивала: «Что здесь происходит? Немедленно прекратить!» И как ни странно, этот начальственный, уверенный тон действовал. Ко мне стали приходиться, чтобы разрешать конфликты.

Однажды я повела группу ребят на экскурсию в МГУ на Ленгорах. Тогда еще можно было войти в Высотку. Там с ними случилась настоящая истерика, это была «ломка» от встречи с чем-то совершенно чуждым, враждебным и непонятным. Как они матерились, как пытались высмеять всё, что видели, как вызывая себе веля, чтобы опозорить меня! Но вдруг в какой-то момент произошел перелом, все успокоились и даже умиротворились. Мы вернулись в общежитие как дружная компания. Мне стало чуть легче жить.

Большинство моих подопечных получили комнаты в Москве и прописку, но не я. Решающим фактором «против» оказалась именно аспирантура. На высшее образование, учитывая мою работу воспитателя, были даже готовы посмотреть «сквозь пальцы», но аспирантура – это уже слишком! Когда приходила милиция проверять паспортный режим, я присоединялась к обходу в качестве воспитателя, объясняя, что мой паспорт «на прописке», но вскоре это перестало работать¹⁵.

Олимпиада, смерть Высоцкого – всё это прошло мимо меня, будто происходило в другой, параллельной реальности. Я больше не встречалась с друзьями по аспирантуре и университету – их жизнь, их проблемы были от меня слишком далеки, равно как и мои от них. А еще было нестерпимо возвращаться из «моей» Москвы в унылое серое Бескудниково с его обитателями.

История с диссертацией возобновилась через два года после окончания аспирантуры. Я встретила человека, за которого вышла замуж. Благодаря прописке устроилась на работу в ИНИОН. Самый подходящий совет по истории философии, в котором я могла защититься, работал в Институте философии. Однако для защиты нужно было, чтобы соответствующий сектор обсудил диссертацию и рекомендовал ее. Сектор, который тогда назывался «Сектор актуальных проблем современной философии стран Азии и Африки», представлял в этот момент Давид Викторович Джохадзе. Он обещал прочитать мою работу и сообщить свое решение.

Оно было отрицательным. Я спросила: почему? Его слова врезались мне в память (передаю точно, сохраняя даже характерный грузинский акцент): «Представьте, приходит зарубажный враг в ленинский библиотэк, возьмет ваш диссертаций и не поймет: кто такой вайшешик – материалист или идеалист?» Он также искренне возмущался тем, что ни в диссертации, ни в автореферате нет ссылок на классиков марксизма и партийные документы.

После разговора с Джохадзе у меня опустились руки, и я решила вообще отказаться от защиты. Но Григорий Максимович Бонгард-Левин, услышав эту историю, рассмеялся и сказал: «Приезжайте ко мне, и мы всё обсудим». Уютный кабинет, коньяк, шоколад, юмор и очаровательный цинизм Григория Максимовича помогли мне расслабиться, дистанцироваться и занять более прагматичную позицию. Мой научный руководитель, будучи членом Ученого совета, со знанием дела сказал, что Ученый совет не читает рефераты и диссертации дальше третьей страницы и что всё требуемое можно поместить на первых трех страницах. И мы, потягивая коньячок, тут же приступили к делу. Сначала нашли брошюру с ре-

¹⁵ Кстати, о милиции. Как-то подопечные пожаловались на кражу, я зашла в их комнату и под кроватью обнаружил вора с украденными вещами: он напился и заснул прямо на месте преступления. Я вызвала милицию, и его забрали. Потом я узнала, что в милиции его отпустили за бутылку водки. Но ненадолго. Вскоре меня вызвали в суд в качестве свидетеля: пойманного мною вора судили за убийство таксиста, и к этому приплюсовали ту самую кражу. Коррупция персонала того отделения милиции не была для меня секретом, но это была настолько обычная ситуация, что она меня несколько не шокировала.

шениями последнего съезда КПСС, а там – цитату про необходимость укрепления дружбы с Индией, ее мы вставили на первую страницу и диссертации, и автореферата. Для второй страницы нашлась цитата из Маркса и Энгельса, а для третьей – из Ленина (совершенно «по делу»: про атом как «перерыв постепенности»). Таким образом, и волки были сыты, и овцы целы (я не поступилась принципами и не сделала ничего постыдного).

Через некоторое время я вернулась в Институт философии с этой более «проходной» версией диссертации, но оказалось, что Джохадзе больше не возглавлял сектор, а Мариэтта Тиграновна Степанянц оказалась человеком совершенно другой закваски и приняла диссертацию к обсуждению без каких бы то ни было «идеологических условий». На предзащите с положительным отзывом выступила Татьяна Яковлевна Елизаренкова. Сектор рекомендовал диссертацию к защите.

С оппонентами тогда была большая проблема – нужен был хотя бы один доктор философских наук по истории индийской философии. Это сейчас можно выбрать из некоторого количества людей, а тогда был лишь один-единственный доктор наук, назовем его Оппонент-1, философ-марксист и конечно же крупный специалист по «материалистической линии» в философии. Вторым оппонентом мог быть кандидатом и не обязательно индологом. Им стал мой добрый знакомый по ИНИОН, где мы вместе работали, замечательный ученый-арабист Артур Сагадеев. Основанием выбора его на эту роль были его работы по арабскому атомизму. Моя диссертация была тоже посвящена атомизму, ему это было интересно, и он написал прекрасный отзыв.

Чтобы понять, в какой ситуации я защищалась, нужны еще некоторые детали о реалиях советского времени. В год защиты, 1982-й, я жила в съемной квартире в Текстильщиках, а сдача квартиры считалась, по определению, противозаконным нетрудовым доходом. В такой ситуации о правах квартиросъемщика вообще не было речи. Хотя мы и договорились с хозяйкой квартиры на три года, через несколько месяцев она поссорилась с мужем и захотела вернуться в свою квартиру. И надо же – именно в момент моей защиты! Мольбы об отсрочке пролетали мимо. Накануне дня защиты она позвонила и потребовала, чтобы я завтра же «выметалась». Я же предпочла пойти на защиту.

Кворум членов Ученого совета кое-как собрался, только Оппонент-1 запаздывал. Мне объяснили, что он склонен к запоям, поэтому может и вообще не прийти, но, спасибо ему, он всё-таки появился! В своем отзыве он упрекнул меня в том, что я не ставлю «основной вопрос философии» (тогда считалось, что это вопрос о том, что первично: материя или сознание?). В иные времена этого было бы достаточно, чтобы получить «волчий билет», но мой благородный оппонент «рубить» меня не стал, признав диссертацию «отвечающей требованиям ВАК», «несмотря на указанные недостатки».

Вместо того чтобы «покаяться», я стала объяснять, почему вопрос о материализме-идеализме не является «основным» для индийской философии и почему учение вайшешики не следует считать вполне материалистическим. Никогда не забуду наполненные ужасом глаза Татьяны Яковлевны Елизаренковой, пришедшей меня морально поддержать. Это был 1982 год, никакой перестройкой еще не пахло. Я была уверена, что меня провалят, но решила держать удар до конца. Но тут, о чудо, слово взяла незнакомая красивая женщина (это была Нелли Васильевна Мотрошилова) и стала хвалить мою работу, и это, как я понимаю, переломило ход защиты в мою пользу.

Друзья и моя мама (она приехала из Кишинева и привезла продукты и вино) устроили банкет в полуразрушенной коммуналке, в комнате, откуда выселили жильцов из-за ее аварийного состояния. Я слушала тосты в свою честь и думала, что попала на собственные похороны. В тот вечер я зачитала поэму, написанную мной накануне защиты. Она называлась «Горе от Вайшешики: драма одной молодой жизни». Действующими лицами были ИИЕТ,

ИФ РАН, ИНИОН, а также Хор вайшешиков. Речь в поэме шла о моих мытарствах с поиском работы «по специальности». Начиналась она так: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Вайшешике в ИИЕТе».

Ночью, когда мы с мамой вернулись в квартиру, мы нашли мои вещи разбросанными по полу, мебель демонтированной (нам пришлось спать на полу), а записка хозяйки гласила, что завтра, в 2 часа дня, она придет и всё, что найдет в квартире, в том числе и меня, просто выбросит на улицу.

Передо мной встала невыполнимая задача: найти пристанище в течение нескольких часов и переехать туда. Мои современники, думаю, помнят, как трудно было снять квартиру. Я обзвонила всех друзей и нашла комнату в коммуналке. Переехать помог Саша Раппапорт, мой друг по щедровитянской компании. Он сумел быстро поймать машину, загрузить вещи и перевезти нас с мамой и вещами (в основном со множеством ящиков книг) на новое место до приезда хозяйки. Это было настоящее рукотворное чудо!

Хозяева квартиры, в которой я сняла комнату, были диссидентами, хозяйка – сестрой известного писателя Феликса Светова, а ее муж – политзаключенным с двадцатилетним стажем. В это время как раз усилились репрессии, и хозяева со дня на день ждали ареста Феликса и его жены Зои Крахмальниковой. Однажды зазвонил телефон, я подняла трубку. На проводе был Булат Окуджава, он интересовался новостями. Я описала ситуацию. В то время в квартиру часто наведывались с обысками сотрудники КГБ, искали что-то запрещенное, в том числе и в моих книгах и бумагах. К счастью, я отдала пару зарубежных изданий на хранение друзьям.

Потом, когда я переехала в другую съемную квартиру, меня навестил в ИНИОН майор из «органов» и попытался убедить дать показания против прежних хозяев. Я была готова к разговору (следуя рекомендации: отвечать только на вопросы, не врать и никому не навредить). Он ушел ни с чем, я даже отказала ему в просьбе «никому не говорить об этой встрече», сославшись на то, что я слабая женщина и просто органически не могу «хранить секреты». Вернувшись после разговора в свой сектор, я позвала всех пить чай и всё рассказала коллегам. В отместку мне не разрешили поехать в турпоездку в Индию и постоянно прослушивали мой телефон. Иногда, когда куратору надоедали мои долгие разговоры по телефону, он включал автомат, сообщавший «московское время».

Мечты о работе по специальности еще очень долго оставались мечтами. Сначала я работала в ИНИОН, в секторе библиографии, писала аннотации к статьям по философии на русском языке (тогда это делали не авторы, а мы – библиографы). Потом перешла на работу в редакцию философии «Большой советской энциклопедии». В деятельности энциклопедического редактора было значительно больше интеллектуального и творческого содержания. В этот момент наша редакция находилась под критическим обстрелом «высоких инстанций» из-за публикации-доноса двух профессоров МГУ, бдительных партийных товарищей Виталия Николаевича Кузнецова, моего преподавателя с кафедры ИЗФ, и воинствующей атеистки Зульфии Абдулхаковны Тажуризиной с кафедры атеизма МГУ¹⁶. Наш «Энциклопедический философский словарь» (1983) казался им недостаточно идеологически выдержанным. Помню, как нам приходилось отвечать на дурацкие обвинения в «тенденции вытеснения философии теологией», в «замалчивании или затушевывании атеистической направленности и материализма» в античной и средневековой философии, обвинения в том, что «объем ключевых статей атеистического раздела недопустимо мал», а «Атеизм» занимает вдвое меньше места, чем «Христианство». Вся редакция была обязана аргументированно реагировать на каждую подобную инвективу, объясняя свою позицию так, чтобы не навлечь еще более тя-

¹⁶ Обсуждение «Философского энциклопедического словаря» см.: Бибихин 1985.

желых обвинений с «оргвыводами» (так называлось увольнение «виновных»). Проработав в редакции шесть лет, я «по энциклопедической линии» была переведена в Институт философии. Проект энциклопедии тогда не состоялся, и меня взяла к себе в сектор Мариэтта Тиграновна Степанянц, которой я полностью обязана всей моей долгой и счастливой профессиональной жизнью историка индийской философии. Это как раз и совпало с кончиной Софьи Власьевны, как конспирологически называли советскую власть.

В 90-е годы, когда нищета достигла критического предела (зарплата составляла 50 долларов в месяц), я неожиданно получила приглашение во Францию на стажировку по линии «Дома наук о человеке» (Maison des Sciences de l'homme). Меня пригласил индолог и антрополог Францис Зиммерман, с которым я познакомилась в Москве на международной конференции по сравнительной философии, организованной Мариэттой Тиграновной в 1990 году.

У меня был маленький ребенок, денег на билеты не хватало, и я решила отказаться. В этот момент появился человек, который сказал слова, резко изменившие ход моей жизни. Когда я пыталась объяснить ему, что «не могу себе этого позволить по своим средствам», он ответил, что если бы он жил «по средствам», то не смог бы выехать за пределы Москвы и Московской области. А он к тому времени уже объездил полмира. Деньги на билеты собирали «всем миром», одевали меня тоже «всем миром». И эта поездка действительно изменила мой взгляд на вещи. Я перестала жить по логике «выживания» и стала просто «жить».

Очувтившись в запретной для советского человека «капиталистической стране» в возрасте почти сорока лет, я, конечно, испытала культурный шок: от изобилия продуктов, товаров, магазинов, кафе, ресторанов, от этноразнообразия французского населения, от транспортных пробок (мы тогда еще не знали этого явления), от открытости границ в Европе и переездов из страны в страну без предъявления паспорта (например, я ездила на экскурсию в Германию). На первых порах проблема состояла в том, что я просто не могла понять, что значит выбирать. Как советский человек я не сталкивалась с проблемой выбора в ситуации, когда все товары одинаково прекрасны. Мы привыкли «брать», что «дают» или «выбрасывают», как тогда говорили. Из всех продуктов я смогла «опознать» только бананы, которые в моей советской жизни были супердефицитом и которыми я ни разу в жизни не наедалась досыта.

Поражала высокая культура быта – невероятной красоты подъезды, уютные и чистые автобусы, убранство квартир, общественные туалеты, в которых не воняет¹⁷, отсутствие очередей и вообще более рациональная организация жизни. Тогда всё это было невысказано у нас, но ведь появилось же! И за очень небольшой исторический отрезок времени. Теперь по части быта и устройства жизни мы не отличаемся, а если отличаемся, то даже в лучшую сторону. Мне гораздо комфортнее жить в Москве, чем во Франции с очень многих точек зрения: большее разнообразие товаров, более высокий уровень общепита, более вкусная и дешевая еда в кафе и ресторанах, возможность обедать там не только с 12 до 14, как во Франции, а именно тогда, когда тебе хочется. Дешевизна такси, общественного транспорта. Более интенсивная и разнообразная интеллектуальная и культурная жизнь: театры, музеи, выставки...

Но вернемся во Францию 1993 года и еще раз посмотрим на нее моими глазами «советского человека». Были вещи, которые не просто удивляли, но и вызывали недоумение: зачем столько товаров, столько магазинов, кафе, ресторанов? Я наблюдала и некоторые гендерные аномалии, с моей точки зрения: специальные магазины мужской одежды, мужской косметики и прочих атрибутов сильного пола, притом что мужчины не уступали женщинам место, не помогали им и даже не «ухаживали», как это было принято у нас. Простота и скромность, с которой одевались французы и особенно француженки, явно контрастировала с репутацией

¹⁷ Мне казалось, что вонь – это сущностный признак туалетов. В СССР не вонял только туалет Дворца Съездов. Вот уж поистине, «два мира – два сортира»...

мировой столицы моды. Вспоминалось, как я читала лекции в МГУ в полуразрушенных аудиториях, в которых подчас не было даже дверей и окон, но при этом многие студентки дефилировали в роскошных шубах и всячески афишировали свое богатство, равно как и презрение к «лузерам»-преподавателям, получающим жалкие гроши. Эта ситуация тоже «выпавила» за прошедшие годы. В Москве по-прежнему одеваются лучше, чем в Париже, но не «кичатся» своим богатством, по крайней мере в университете.

Во Франции я впервые встретила с таким явлением, как социальная чувствительность. Помню, как меня, приехавшую из России 90-х, поразило то, что французы искренне реагировали на бедственное положение людей и особенно детей в нашей стране и других странах бывшего соцлагеря, как организовывали помощь, как стремились усыновлять / удочерять русских детей. Пожив во Франции, я поняла, что это нормально для западного общества: помощь другим не государства, которое без твоего ведома отправляет миллиарды долларов насквозь коррумпированным диктаторам «дружественных режимов», а инициатива самих людей, которые создают свои общественные организации, чтобы помогать адресно тем, кто в этом действительно нуждается. Но с этим у нас по-прежнему проблемы, особенно сейчас. Участие в международных организациях грозит статусом «иностранный агент», а на создание российских благотворительных организаций и волонтерских движений власть смотрит с пристрастием и строит всяческие препятствия.

Еще одно «открытие», которое я совершила для себя во Франции, это Patrimoine – концепция культурного наследия. Государство бдительно охраняет культурное наследие, поощряет его частную реставрацию значительным снижением налогов и другими способами. Следит за тем, чтобы памятники реставрировались только по утвержденной технологии. Там немисливо снести историческое здание, заплатив взятку, или снести, а потом на его месте построить такое же, только «еще лучше».

Я долго не могла себе объяснить, почему наше постсоветское общество столь безразлично и инертно, почему социальная чувствительность в нем, что называется, «ниже плинтуса», почему уровень терпимости к злу, насилию, обману, коррупции, преступлениям, напротив, так высок, что они воспринимаются как норма, естественное положение дел. Было бы достаточно и сотой доли чего-нибудь из этого, чтобы вывести на улицу миллионы французов. И другая сторона той же проблемы: почему в нашей стране политики не могут по-настоящему объединиться даже ради самого благого дела?

На эти вопросы я нашла для себя ответ не в «социалистической» Франции, а через много лет, побывав в Америке. Ответ этот состоит в том, что мы, бывшие хомо советикус, самые большие индивидуалисты, однако этот наш индивидуализм – дикий, нецивилизованный, выражающий не свободу, а «вольницу», когда каждый руководствуется только сугубо личными интересами и совершенно невосприимчив и даже показательно глух к интересам других людей.

Чем дикий индивидуализм отличается от «цивилизованного»? Цивилизованный свободный индивидуум принимает свободу «в одном пакете» с ответственностью – и прежде всего ответственностью перед другими. Аргумент про интересы «других» в нашем предельно атомизированном обществе не находит отклика, а многими соотечественниками воспринимается просто как демагогия.

Почему для того, чтобы понять, что мы – самая индивидуалистическая страна, где индивидуализм ничем практически не ограничен, надо было побывать в Америке? Америка, начав с того же, что и мы, то есть «с вольницы», прошла долгий путь до законопослушности. Я узнала, как первопроходцы на «Диком Западе» сами создавали и принимали законы, которые отвечали их интересам, – законы, которые их защищали и помогали выжить. А когда

инициатива общественных уложений и правил общежития исходит «снизу», от индивидов, они их и соблюдают. Их коллективизм вырос из частных интересов.

У нас же законы – что в царской России, что в советской, были спущены сверху, навязаны внешней волей, интересами власти, бюрократии, которая во многом противоречила здравому смыслу и нашей жизни, поэтому естественная реакция на законы в России – поиски «обходных путей» («закон что дышло»). Неслучайно эмигранты из России в США, не привыкшие соблюдать законы у себя дома, продолжали так же вести себя и в эмиграции и поэтому очень легко обогащались – они находили лазейки и обходные пути, которые бедным законопослушным американцам даже не приходили в голову. «Русская мафия», «русская преступность» стали мемами.

То же и с коллективизмом, с защитой профессиональных интересов – нет у нас настоящих профсоюзов, которые имели бы реальный авторитет в обществе и могли защищать чьи-то интересы. В последние годы, особенно среди молодых людей, начинают возникать разные волонтерские сообщества, и это очень важный признак, первые ростки становления нового коллективистского сознания. Однако такая самоорганизация «снизу», как и любая неконтролируемая инициатива, очень пугает власть и может быть легко задушена всяческими регламентациями, запретами и штрафами, что, собственно, уже и происходит.

Мой опыт жизни на Западе привел меня еще к одному наблюдению: у нас считается, что «естественное», «нутряное» лучше «искусственного». Многие соотечественники, побывав «за бугром», возмущаются «лживыми» тамошними улыбками. Я много раз замечала, что территория вне «дома» или «работы» у нас часто воспринимается как зона полного морального отчуждения, как пустыня, даже если это битком набитое метро. Ты толкаешь, тебя толкают, люди легко оскорбляют друг друга, ссоры вспыхивают «на пустом месте» и начинаются взаимные оскорбления. Попадая в замкнутое пространство, например в лифт, соседи, незнакомые друг с другом, редко здороваются, даже если живут в одном подъезде. Повернутся друг к другу спиной и молча напряженно стоят (я живу на 12-м этаже и часто имею возможность это наблюдать). Люди не улыбаются друг другу, случайно встретившись глазами, к чему так легко привыкаешь за границей. Моральное отчуждение за пределами круга близких или знакомых людей особенно проявляется в социальных сетях – в царящем там хамстве. Конечно, в Сети много троллей, но далеко не только тролли пишут хамские посты совершенно незнакомым людям. Волосы дыбом встают, когда читаешь оскорбительные комментарии по любому поводу; люди изливают на окружающих весь репертуар своих «естественных чувств». Мысль о возможности воспитания эмоций и культивирования социального поведения некоторые воспринимают как посягательство на свое священное право «естественности» и «искренности».

Мне кажется, что в социальных сетях, как и в самом обществе, это порождает очень нездоровую, токсичную атмосферу. Дело в том, что эмоциональный «полуфабрикат», не пропущенный через фильтры морали, культуры, религии и цивилизации, всегда равен самому себе «на входе» и «на выходе». Если внутри человека доброта, свет, всепрощение, то и «на выходе» будет свет и святость, если внутри эмоциональные помои, то и «на выходе» не получится пирожное. Думаю, что сомнительный закон об «оскорблении религиозных чувств», принятый в нашей стране, ориентирован как раз на эмоциональную сферу. «Сомнительный», поскольку непонятно, что такое «религиозные чувства» и как они могут быть «оскорблены»? Если верить тому, что говорят о себе мировые религии, то они проповедуют исключительно прекрасные чувства: любовь и сострадание, а христианство – еще и всепрощение. Это ведь и есть «религиозные чувства», не так ли? Можно ли чем-то оскорбить любовь? А сострадание? То, что «ведется» на оскорбление, то, что «оскорбляется», – никак не может быть религиозным чувством! Через этот закон легитимируются не любовь и сострадание, а ненависть,

зависть, подозрительность, нетерпимость к тому, что отличается от «своего». Если говорить по существу, и это доказывает опыт не только России, но и Индии, то данный закон есть инструмент диктатуры консерватизма, обскурантизма и ксенофобии, какой бы религиозной оболочкой это ни прикрывалось (индийские оскорбленные чувства изгнали из культуры страны Салмана Рушди, например, а мы можем вспомнить показательную историю постановки «Тангейзера» в Новосибирске, раскритикованной РПЦ). Пример этих самых «оскорбленных чувств» мы недавно наблюдали и во Франции. «Оскорбляющие» рисуют карикатуру, «оскорбленные» отрезают голову, отнимают жизнь.

Когда над «природой» надстраивается сдерживающая конструкция морали, религии, культуры и цивилизации, то есть шанс, что человек будет вести себя «культурно», если и не по естественной склонности, то хотя бы в силу знания норм социального поведения. Даже не чувствуя эмпатии (ну, скажем, у него мало зеркальных нейронов), человек может относиться к другому гуманно, поскольку так воспитан и таковы ценности общества (такие, например, как уважение человеческого достоинства, соблюдение законов), в котором он сформировался. Людями с твердо укорененной рациональной структурой сложнее манипулировать.

Лично мне комфортнее среди улыбающихся людей, а не среди насупленных и враждебно подозрительных, от которых можно ожидать всё что угодно, ведь доказано, что даже если улыбающийся человек неискренен, сама по себе улыбка, которую вы видите, запускает в действие положительные эмоции (так действуют зеркальные нейроны). Но это комфорт для внешнего социального пространства, что же касается внутреннего состояния души, то здесь всё сложнее. Я почувствовала себя русской во Франции главным образом по той причине, что столкнулась на первых порах с очень формальным поверхностным общением между людьми. На Западе не принято «грузить» кого бы то ни было, кроме «специалистов» (психологов, психиатров, психоаналитиков), своими психологическими проблемами, не приняты «разговоры по душам». Постепенно я приучила своих французских друзей к такому стилю общения. Но не во всех странах это было возможно. Например, в Голландии, где я провела почти полгода, мне так и не удалось никого «приручить». Более глубокого и разрушительно-одиночества я не чувствовала ни в одной стране.

Для меня невозможно рассуждать о прошлом вне оптики настоящего. Не могу не задавать себе вопрос: каким образом почти через 30 лет после крушения советской власти, после открытия чудовищной правды о ее преступлениях, после падения «железного занавеса» и освобождения от диктата «единственно правильной» идеологии, люди разных поколений, живших при «совке», и даже совсем молодые люди, родившиеся после распада СССР, но-стальгируют по советскому строю? Как это возможно: знать про ГУЛАГ и всё равно возводить памятники Сталину? Почему после опыта свободы и недолгого, но всё же опыта нормальной человеческой жизни перед нашим поколением опять стоят те же проблемы защиты свободы и человеческого достоинства? И как случилось, что мы не сумели воспользоваться уникальным шансом изменить участь своей страны и стать частью мира? Неужели всё вернулось на «круги своя» – на привычную колею изоляции и ксенофобии? Почему движение вперед привело нас назад, к дурному повторению? Этот вопрос я задаю и себе, и всему «советскому» поколению.

Как понять это явление? Как очередное крушение просветительских иллюзий, новое прозрение о том, что знание, просвещение бессильны изменить сознание людей, и сколько им ни «открывай глаза» на преступления, они всё равно будут прославлять режим, при котором эти преступления стали нормой, и тирана, создавшего самую изощренную и циничную систему уничтожения собственного народа? Каким же образом современным наследникам «эффективного менеджера» удалось тихой сапой повернуть такую огромную страну назад на рельсы прошлого?

Меня когда-то потрясла одна история про Столыпина. Вспыхнул бунт в каком-то полку, и Столыпин поехал его умирять. Представьте себе сцену: навстречу ему выходят делегаты бунтовщиков. Они кипят от возмущения и готовы решительно отстаивать свои права. Что делает Столыпин? Он привычным барским жестом сбрасывает с себя шинель... и лидер переговорщиков привычным жестом ее подхватывает. Не нужно было слов: господин привел в действие инстинкт раба.

Мне кажется, что с нами, с населением России, произошло нечто подобное: умелой рукой была выбрана и акупунктирована какая-то важная точка, приводящая в действие наработанные поколениями рабские инстинкты покорности ради выживания: «Не до жиру, быть бы живу». «Жиром» оказывается свобода, она первая приносится в жертву. Советская власть умело поддерживала модус «выживания» – нищенскими зарплатами и пенсиями, всеобщим дефицитом, очередями, тотальным контролем умов, манипуляцией угрозами войны, голода, нищеты, которые якобы исходят от Запада.

Нас, советских людей, легко было убедить, что главное счастье заключается в вере в завтрашний день, в стабильности. Хотя это и стабильность в бедности («жили бы мы богато, но враги мешают»). Понятно, что людям, привыкшим к тому, что их существование полностью «окаймляется» государством, девяностые годы нанесли тяжелую травму. Понятно, что они бы предпочли равенство в бедности – свободе, крылышко государства – свободному предпринимательству.

Сейчас мы видим, что власть снова прибегает к искусственному поддержанию нищеты большинства населения (себя любимых они не обижают, как мы знаем) как эффективному рычагу управления. Чтоб выживали, не поднимая головы, чтобы любая ничтожнейшая подача – например, ежегодная прибавка 1000 рублей к пенсии – воспринималась как щедрая «забота» государства.

Умело выстроенная манипуляция под громким названием «вставание с колен» и была обращена к тем, кто в результате краха СССР чувствовал себя униженным, обиженным, потерянными. Короче говоря, она была обращена к эмоциям, а эмоции – самая легкая добыча манипуляций (голосуем сердцем, товарищи!)

Однако к вполне объяснимой и рациональной сделке: лояльность в обмен на посулы стабильности – «лишь бы не майдан», в нашей современной ситуации добавилось еще нечто иррациональное, почти фатальное – общее ощущение безысходности, обреченности всегда наступать на одни и те же грабли. Россия предстает каким-то особым пространством, на котором не действуют законы общественного развития и все более-менее рациональные конструкции рано или поздно растворяет и поглощает какая-то примордиальная хтоническая магма, глубинная народная «душа», утопающая в эмоциях. И действительно, эмоции и с научной, эволюционной точки зрения являются самым древним пластом психики. Кто-то скажет, что это архаическая, языческая «душа» – «проклятие» и «тормоз», а кто-то, напротив, найдет в ней истоки «соборности», «всечеловечности» и «святости» русского народа, нашу главную «скрепу». Как бы то ни было, архаика по своей природе «заточена» под цикличность, повторение и самовоспроизведение. Этому «подкультурному», «подкладочному» слою не свойственно развитие. То, что туда «записалось» искоренить трудно.

Из песни слова не выкинешь, как из нашей истории не выкинешь крепостничества, ведь оно не окончилось с победой советской власти. Крестьянам начали выдавать паспорта лишь с 28 августа 1974 года, а до этого они были прикреплены к своим колхозам («Всё вокруг колхозное, всё вокруг мое»). Крепостной раб не имеет собственности, и поэтому у него нет и не может быть понятия «чужой собственности». В советское время была злая шутка: «Наш народ вынесет все». И действительно, воровство процветало повсюду и воспринималось как вполне естественное явление. Каждый воровал на своем уровне, а «начальству», как счита-

лось, воровать было просто положено «по статусу», и «глубинный народ» относился к этому с полным пониманием. До сих пор любая новость о коррупции воспринимается по-житейски примирительно: мол, «начальству положено воровать». Оттого-то так трудно смутить нашего человека стремительно растущим неравенством доходов и коррупционными скандалами.

Социализм в своей советской форме пестовал социальный инфантилизм, возвращал в людях паразитическую психологию нахлебников государства, поэтому к свободе, которая наступила после падения советской власти, подавляющее большинство людей было не готово. Инфантильное сознание воспринимает свободу как вольницу – «что хочу, то и ворочу», без сопровождающей настоящую свободу социальной ответственности. Нет ничего удивительного, что инфантильное постсоветское общество оказалось в ситуации дарвиновского естественного отбора: выживает сильнейший, диктовавший законы всех последующих «лихих» десятилетий.

«Если бога нет, то всё позволено». У Ницше это накладывает на человека огромные обязательства: свобода есть ответственность. «Если Крым наш, то всё позволено», напротив, освобождает от каких бы то ни было обязательств. Был дан сигнал: «То, что нам хочется, это и есть закон!», и он был принят с огромным удовлетворением и облегчением. Вот она, наконец, вождельная вольница! Зачем участвовать в реальной и сложной конкурентной борьбе? Проще объявить всех конкурентов «врагами», а себя назначить победителями. Именно так Россия «встала с колен». Поэтому не будем пенять на Путина, он лишь инкарнация, порождение этой примордиальной стихии народной вольницы, а современная Россия – его портрет.

Но тем не менее хочется верить, что постсоветское время не прошло даром, по крайней мере для нашей философии. Сомневаюсь, что ее удастся снова загнать в русло какой-нибудь новой идеологии, если, конечно, мы, философы, сами ее не создадим. Всем философским поколениям советского периода это время принесло много разных новых возможностей. Удивительно то, как быстро «переобулись» и «переоделись» многочисленные истматчики (специалисты по историческому материализму) и диаматчики (специалисты по диалектическому материализму). Кто-то, потому что давно вырос из старой одежды, а кто-то напялил новую одежду поверх старой. Так или иначе, довольно быстро в нашей философии марксизм из ведущей и обязательной идеологии стал предметом скорее исторического интереса. За десять лет после падения всяческих запретов и спецхранов был переведен огромный пласт зарубежной философской литературы, которая стала постепенно вливаться в круг чтения наших философов. Появились новые звезды, например Валерий Подорога, по-новому засияли некоторые философы советских времен – Вячеслав Стёпин, Вадим Межуев... И тот и другой список можно продолжать.

Что касается поколения моего выпуска 1976 года, оно сейчас на пике активности и в вузовской и в академической философии. В нашем институте 6 человек, практически все они заведуют секторами. В выпуске две страшные истории – Сережи Исаева, ректора ГИТИСа, сделавшего его крупнейшим российским и международным театральным вузом, но подло убитого, как тогда говорили, в результате «спора хозяйствующих субъектов». Преступление осталось нераскрытым. Как и убийство Толи Афанасьева, заведующего отделом культуры МГК КПСС, поднявшего тему русского зарубежья, руководителя серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия».

Если говорить о других, не столь печальных историях, то, наверное, интереснее всего судьбы тех однокурсников, которым философия помогла преуспеть в других профессиях. Мне известно несколько случаев: Володя Амелин, который стал политтехнологом, Лена Федорова, уехавшая жить в Канаду и работавшая там психотерапевтом, Наташа Исаева, ставшая известным европейским театральным критиком и получившая за свою театральную дея-

тельность французский орден Почетного легиона, Риитта Ниэмминен, финская подруга, сделавшая карьеру в медицинской торговой компании, и, наконец, Алена Крейчева (в замужестве Канюкова), создатель и директор четырех театральных школ для детей в Словакии. Она написала и поставила 10 мюзиклов и в каждый, по ее словам, вложила какое-то философское послание. Думаю, что если провести опрос курса, то интересных судеб будет гораздо больше, ведь наше философское образование давало прекрасную стартовую площадку в любой сфере деятельности, так или иначе связанной с мышлением.

Мой собственный постсоветский опыт был целиком связан с моей специальностью, выбранной еще в студенческие годы. В Индию я впервые попала как турист в 1990 году, работая в издательстве «Большая советская энциклопедия» на самом излете советской эпохи. Брать меня не хотели из-за отсутствия необходимого профсоюзного стажа, но Наум Моисеевич Ланда, мой начальник, пошел к директору издательства и потребовал, чтобы меня как единственного специалиста по Индии включили в эту группу. За 25 дней мы побывали в пяти странах: Индии, Непале, Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Волею судьбы я впервые познакомилась с достижениями суперсовременной западной цивилизации не на Западе (поездка во Францию состоялась только в 1993 году), а на Востоке – в Сингапуре и Малайзии. Это был настоящий шок: небоскребы, утопающие в зелени и цветах, электронные ключи в гостинице, футуристические многоэтажные дорожные развязки, идеальная чистота. Такое мы видели только в фильмах о далеком будущем.

С нами в группе были «блатные»: племянница Брежнева Галина и сын всеильного тогда министра среднего машиностроения (имени не помню, но его помятая физиономия изобличала явное пристрастие к алкоголю) со своим личным гидом и переводчиком. Они подчеркнута держались от нас на дистанции и всячески выражали свое презрение, особенно по поводу натурального товарообмена, которым многим из нашей группы приходилось там заниматься. Нам поменяли всего по 50 долларов на человека¹⁸, они же даже не прятали свои пачки долларов. Поездка была сказочная, и жили мы в таких условиях, которые и представить себе не могли по опыту своей советской жизни.

Мой первый самостоятельный выезд в Индию в 1991 году на конференцию, организованную американским журналом «Философия Востока и Запада», был отягощен наследием советских времен. В индийском посольстве знали только «выездных» индологов, я же в качестве индолога им была неизвестна, поэтому надо мной издевались по полной программе (три дня я ходила в посольство как на работу, а меня просто «отфутболивали», ночами я безуспешно пыталась дозвониться до организаторов конференции). Мой самолет уже улетел, когда в ситуацию вмешался знакомый индиец, после его разговора с послом мне сразу дали визу. В самой Индии тоже всё было непросто: из-за трехдневной задержки с визой я добралась до конференции только в последний день. Моя ситуация была настолько неопределенной и тревожной (пришлось продлевать визу, тайно выселиться из гостиницы из-за отсутствия денег и искать жилье самостоятельно¹⁹), что я напрочь потеряла сон и существовала «в автоматическом режиме». В этом состоянии я случайно выбросила в мусорную корзину свой обратный билет в Москву. Потом мне пришлось взять такси и на последние деньги ехать в другой конец Дели, чтобы забрать его. После этого опыта я 15 лет боялась ездить в Индию.

¹⁸ В те времена рядовым гражданам иметь валюту было запрещено.

¹⁹ К счастью, я случайно встретила в Дели своих университетских индийских друзей, которые только что вернулись в Индию после многолетней работы на Западе и в Канаде (это был знаменитый ныне индийский астрофизик Варун Сахни и его жена Рохини, профессор экономики). Они еще не успели обзавестись собственным жильем, поэтому пригласили меня сначала к своим родителям (отец Варуна – знаменитый индийский писатель Бхишам Сахни), а потом и к сестре Варуна – известной русистке Кальпане Сахни. В этой замечательной семье, которая сердечно пригрела меня, русский был одним из языков общения.

Но всё же эта первая самостоятельная поездка была очень важной. В Дели я встретила Вильгельма Хальбфасса, самого выдающегося философа-индолога конца XX века, с которым была уже знакома по переписке. Это отдельная история.

В советское время я подрабатывала рефератами и рецензиями на разные иностранные издания (статьи и книги). Однажды в издательстве «Прогресс» мне дали на рецензию книгу Хальбфасса «Индия и Европа: перспективы их духовной встречи»²⁰. Мое восхищение этой книгой отразилось в рецензии, которая была отвергнута из-за отсутствия критики «буржуазной» концепции автора. Тогда я опубликовала ее в журнале «Народы Азии и Африки». Оттиск этой рецензии я послала Хальбфассу с оказией в Берлин. В этот момент он жил там по стипендии Берлинской научной коллегии. Каково же было мое удивление, когда при нашей встрече в Индии он рассказал, что ознакомился с содержанием рецензии благодаря переводу композитора Альфреда Шнитке, его соседа по общежитию в Берлине! Хальбфасс пригласил меня на стажировку к себе, в Пенсильванский университет, но из-за войны в Персидском заливе университет отменил мою стипендию. С Хальбфассом я встретила через четыре года в Вене, где мы общались в течение двух недель. К сожалению, он скоропостижно скончался от инфаркта в 2000 году, едва достигнув 60 лет. Как странно, два главных моих философских авторитета умирают в 60 лет, а я, пишущая эти строки, уже старше их.

С 2005 года я начала ездить в Индию регулярно, практически каждый год, и работать с местными индийскими учеными (пандитами) над переводом санскритских текстов, в основном по проблемам восприятия. После вайшешики я занялась индийской философией грамматики (вьякарана), потом открыла для себя буддизм, прежде всего ранний, потом от буддийской эпистемологии перешла к проблемам восприятия в более общем контексте индийской философии. Эта последняя тема сблизила меня, с одной стороны, с буддистами, с другой – с российскими нейрочеными. Я приняла участие в организации и проведении двух встреч и конференций между российскими учеными и философами, с одной стороны, и Далай-ламой и буддийскими монахами – с другой²¹.

Помимо Франции и Индии, куда меня звали «приглашенным профессором», я побывала «по индологической линии» на стажировках в Англии (была стипендиатом фонда Велкома), Голландии (как стипендиат фонда Гонды) и Австрии (как стипендиат фонда Смит Хо фэмили). Индия (я имею в виду индологические конференции) привела меня и в другие страны: Литву, Латвию, Германию, Польшу, Финляндию и даже Австралию.

Однако самый интересный постсоветский философский опыт произошел со мной именно в России. С 2006 по 2015 год мне выпало счастье работать в уникальном коллективе, созданном академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым, – Русской антропологической школе при РГГУ. Это был междисциплинарный коллектив, объединивший филологов, лингвистов, психологов и философов. Скрещивание разных дисциплинарных перспектив на одной теме показалось мне чрезвычайно плодотворным прежде всего своей эвристической потенцией – возможностью посмотреть на предмет своего исследования со стороны, со «смотровой площадки» разных специальностей. Вместе с Вячеславом Всеволодовичем мы реализовали в РАН два проекта – круглый стол по проблемам восприятия: Восток – Запад, и конференцию по атомизму. Позднее Вячеслав Всеволодович принял самое активное участие в проекте «Атомизм и мировая культура», поддержанном РГНФ.

Когда в РАН была открыта магистратура, я придумала и много лет читала спецкурс по «Основам ксенологии», в котором знакомила магистрантов с конструкцией «чужого» в истории отношения к Индии на разных стадиях развития европейской цивилизации. Более заин-

²⁰ См.: Halbfass 1981. Позднее книга вышла в английском переводе, который получил гораздо большее распространение: Halbfass 1988.

²¹ Материалы первой конференции были опубликованы в журнале «Философские науки». 2018. № 3.

тересованных и внимательных слушателей у меня никогда не было. Магистратура РАШ, возможность учиться у наших ярких преподавателей²², а особенно у самого Вячеслава Всеволодовича, лекции которого были глубоким потрясением для каждого, кто их слушал, привлекала очень интересную, талантливую молодежь. Это были люди, некоторые из них уже со степенью кандидатов наук, поступившие в РАШ не для «корочки», а для собственного интеллектуального развития. Многие наши выпускники уехали за границу, не найдя своего места в стране. Русская антропологическая школа, как и другие оригинальные институты при РГГУ, созданные при ректорстве Юрия Афанасьева, была закрыта при «оптимизации» этого вуза.

Мы живем в уникальное время – эпоху глубоких тектонических цивилизационных сдвигов. То, что происходит в нашей стране при несменяемой уже 20 лет власти, на мой взгляд, демонстрирует миру сценарий «тупикового пути», но, увы, это не единственный в мире «тупик»... Большинство стран, в той или иной мере, переживают культурный или цивилизационный кризис, вызванный или, точнее, проявленный пандемией. Какими они выйдут из него? Ясно, что постковидный мир не будет прежним: произойдет ли изоляция, капсулирование существующих государственных образований или возникнут какие-то новые, более прозрачные структуры? Сумеет ли человечество удержаться от саморазрушительных войн? В такой поворотный для всей земной цивилизации момент возрастает роль философии. Почему? Поскольку важно не потерять из виду уровень высших антропологических, гуманистических ценностей, не скатиться к логике «выживания» существующих государств любой человеческой ценой! Осмыслить прошлое и извлечь из него уроки для настоящего становится как никогда насущной задачей. Но чтобы эту задачу выполнить, философия не должна быть цивилизационно или культурно ангажированной – то есть западной, восточной, русской, французской и т. п.... Ее единственным условием, ее «воздухом», может быть только свобода – внутренняя свобода философа, его открытость всему миру философских смыслов – в пределах и за пределами горизонтов его собственной культуры... По моему мнению, будущее философии – это межкультурная философия.

Бибихин В.В. 1985. Письмо в редакцию «Вестника Московского университета». – *Сайт Владимира Бибихина*. – Доступно: http://bibikhin.ru/pismo_v_redaktsiu_vestnika_moskovskogo_universiteta. – Проверено: 12.11.2022.

Гордон... б/г. Гордон – Диалоги: Мышление о мышлении. – *Видеохостинг Youtube*. – Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=W85EBJc4Ajs>. – Проверено: 12.11.2022.

Лысенко В.Г. 2006. Октябрина Федоровна Волкова (23.01.1926-22.10.1988). – *Smaranet: Памяти Октябрины Федоровны Волковой*. – М.: Восточная литература. – С. 4–14.

Малиновский П.В. б/г. Малиновский Павел Владимирович. – *Некоммерческий научный Фонд «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»*. – Доступно: <https://www.fondgp.ru/mmk/persons/малиновский-павел-владимирович/>. – Проверено: 12.11.2022.

Halbfass W. 1981. *Indien und Europa: Perspektiven ihrer geistigen Begegnung*. – Basel; Stuttgart: Schwabe Verlag.

Halbfass W. 1988. *India and Europe: An Essay in Understanding*. – Albany, NY: State University of New York Press.

²² Таких, например, как философы Олег Аронсон, Елена Петровская, Юлия Синеокая, историки Евгений Пчелов, Екатерина Болтунова, психолог Александр Сосланд, блестящий философ античности Ирина Протопопова, историк средневековой философии Константин Бандуровский, культуролог Наталья Полтавцева, историк Андрей Олейников, полонист Алексей Васильев и др.